

# Деревцоцвет

Литературно-художественный альманах для юношества



№2(15)  
2003



Номер посвящается  
10-летию областного фестива-  
ля «Дни русской духовности и  
культуры “Сияние России”»





# *Первоцвет*

№ 2 (15) 2003

*Литературно-  
художественный альманах  
для юношества*

Основан в 1998 году

## *Учредитель*

Областная юношеская  
библиотека  
им. И. П. Уткина

## *Главный редактор*

Анна Стародубцева

## *Редколлегия*

Лидия Середкина  
Евгений Суворов  
Александр Лаптев  
Александр Попов  
Лина Иоффе  
Светлана Зубакова  
Регина Присяжникова

## *Обложка*

Сергей Элоян

## *Рисунки в тексте*

Наталья Довнич

## *Компьютерная верстка*

Нина Мазутова

## *Адрес редакции.*

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10  
тел. 29-07-93, 20-43-01  
E-mail. [redaktor@youlib.irk.ru](mailto:redaktor@youlib.irk.ru)

# В номере

## РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

«Мне эта осень чудо сотворила...» ..... 5

## СТРАНА ПОЭЗИИ

<i>Татьяна Ясникова</i> .....	7
<i>Наталья Санеева</i> .....	10
<i>Марьяна Антонова</i> .....	13
<i>Сергей Гипслис</i> .....	14
<i>Андрей Матвеев</i> .....	14
<i>Любовь Волынец</i> .....	15
<i>Виктор Горяшин</i> .....	16
<i>Елена Шаталина</i> .....	31
<i>Алена Ангараева</i> .....	35
<i>Елена Майорова</i> .....	36
<i>Инна Юрченко</i> .....	36
<i>Ольга Говорина</i> .....	37

## МИР ПРОЗЫ

<i>Владимир Максимов. За шторой, с этой стороны</i> .....	17
<i>Дмитрий Максимов. Переход</i> .....	26
<i>Жанна Райгородская. На улице Полярной</i> .....	39
<i>Елена Шаталина. Миниатюры</i> .....	47
<i>Александр Гончаров. Вкус неба</i> .....	50

## ГАЛЕРЕЯ

<i>Чувство родины</i> .....	38
-----------------------------	----

## ПОДМОСТКИ

<i>Сергей Перфильев. Брошенный дом</i> .....	52
--	----

## КОНКУРС

<i>«Будущее, увиденное сегодня». Подведение итогов</i> .....	58
--	----

## СТРАНИЦЫ КЛАССИКИ

<i>Федор Тютчев</i> .....	66
---------------------------	----

## ЗОЛОТОЙ ФОНД

<i>Геннадий Николаев. Танька</i> .....	71
--	----

# Разговор с читателем

## «МНЕ ЭТА ОСЕНЬ ЧУДО СОТВОРИЛА..»

Как чистой воды бриллиант среди тьмы и духовного хаоса, обвала прошлого и засилия чужой расхожей культуры уже в десятый юбилейный раз засияет на нашей иркутской земле праздник высокой духовности и национального единения, который подарили иркутянам губернатор области Б. А. Говорин, явившийся организатором и вдохновителем фестиваля и наш земляк, писатель, публицист В. Г. Распутин.

Впервые он состоялся в 1994 г., как раз в то время, когда русская история и культура подверглись сомнению и жесткой критике, и полностью оправдал свое название «Сияние России». С новой силой забили родники творчества, зазвучала исконно русская народная и духовная музыка, заиграли многоцветьем народные ремесла, в живом писательском слове выразилось благоговейное отношение к родному слову. Фестиваль привлек внимание столичной творческой элиты. Деятели литературы и искусства, посетившие наш провинциальный город, пришли к единодушному мнению, что глубинка богата молодыми талантами.

И совершенно не случайно эта дата совпадает с другим не менее важным событием в культурной жизни города — пятилетием «Первоцвета», альманаха о молодых и для молодых, рожденного и любовно пестуемого в стенах Областной юношеской библиотеки им. И. Уткина. Как магнит он притягивает к себе юные дарования. Из самых отдаленных уголков нашей области в редакцию спешат письма и, поскольку «Первоцвет» — единственный в своем роде в России, почта идет из других регионов, в том числе из Москвы и Петербурга. Ведь только здесь они попадут в атмосферу доброжелательности и профессионализма. Сами за себя говорят имена сотрудников творческой лаборатории журнала: председатель Иркутского отделения Союза писателей России А. Лаптев, литератор А. Попов, радетьель за новичков в литературе писатель Е. Суворов. Здесь хрупкие нежные ростки бережно возвращаются на лучших образцах местных прозаиков и поэтов, чье творчество наполнено чувством гражданского долга и любовью к своей малой родине — суровому Приангарью. В пестрой карусели современных молодежных изданий, изобилующих острым интересом к насилию и порокам, «Первоцвет» отличается сдержанностью в оформлении (знакомая нам с детства тетрадь в наивную клеточку) и утонченным литературным вкусом в содержании. Здесь приветствуются и философские размышления, и любовная лирика, и пейзажные зарисовки родных мест. Альманах неукоснительно следует своей благороднейшей миссии — развивать и поддерживать духовное начало в современной молодежи.

Особая тема — молодые авторы, чей творческий путь начался со страниц «Первоцвета». Это и молодой талантливый писатель А. Турханов, начинающие поэтессы Е. Ефимова и А. Боровская. Они как осо-

бо перспективные отмечены в литературных кругах, у них есть свои читатели, успевшие искренне полюбить их творчество.

Творческая жизнь «Первоцвета» тесно переплетается с общественной и культурной жизнью города. Это — и сотрудничество с молодежными организациями г. Иркутска, и участие в фестивалях и конкурсах. Под эгидой «Сияния России» в октябре выходит праздничный номер, для которого редколлегия подготовила сюрприз — стихи Тютчева, замечательного поэта, философа, патриота.

«Первоцвет» живет насыщенной творческой жизнью и ждет своих авторов, молодых и дерзких, кому есть чем поделиться и с юными, и с искушенными хорошей литературой читателями.

Главный библиотекарь  
Областной юношеской библиотеки им. Уткина  
*Л. Г. Куликова*





## Татьяна Ясникова

Член Союза писателей России. Закончила Иркутское училище искусств, отделение живописи. Затем Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Э. Репина, факультет теории и истории искусства.

Стихи пишет с девяти лет. Вышли в свет четыре книги поэта — «Тень вечеров», «Стихотворения», «На острове» и «Возвращение».

Живет в Иркутске.

\* \* \*

Жизнь такая, как ты есть,  
Дар всевидящего Бога.  
Преступление и лесть —  
Все вместилось понемногу.  
Если где-то кровь и брань,  
То в горах сияют сосны.  
Лучше дуться перестань  
Из-за взглядов своих косных.  
Каждый к каждому привык.  
Не привык — так возмутился.  
Раздался ужасный крик —  
Чей-то разум помутился.  
Все не вечно под луной —  
Это счастье легким светом  
Светит в сумрак голубой  
На гроба и на монеты.

\* \* \*

Почему ж мы думаем,  
Бог — это покой?  
Льются ветры шумные,  
Говорит прибой.

Мечутся березы,  
Стоя на корнях.  
Лопнувшие грозы  
Плавятся в огнях...

Стены храмов Божьих  
Прочные стоят.  
Тихо, бестревожно,  
Где икон оклад.



Мысленные лики,  
Ясные черты,  
Тоненькие пики  
Ангелов мечты.

## ЗВУКИ, ЗВУКИ

Звуки, звуки. Очертанья.  
Неземной полет стрижей.  
Расставанья, расставанья —  
Одиноким веселей;

Расставанья, расставанья —  
Заполняйте расстоянья.  
Фонари на пустырях  
Навевают грусть и страх...

Стриж полета — это слово;  
Ноздри ловят запах крова.  
И, пронзенные дыханьем,  
Покидают начертанья.

Это слово; все в движенье,  
В жизни, в трепете, в скольженье,  
В невесомости, в восторге  
Раскрывающее створки.

Знаки. Знаки. Начертанья.  
Код Вселенной — сквозь дыханье.  
Пусть истлеет человек —  
Сохранится знак вовек.

В токе воздуха восходим  
К тихим всполохам мелодий.  
Расстоянья, расстоянья —  
Необъятность расставанья.

\* \* \*

Ночью в открытую  
форточку  
Хлынет ветров океан.  
К жизни проснуться захочется  
Кипящим в груди словам.

Шумно взиграет осень.  
Места нам нет на земле!  
Мы опадаем в белесый  
Сумрак печали во мгле!

В остуженной комнате ночи  
Бушует ветров душа.  
С ветрами кружись по обочине,  
Палой листвою шурша!

## СНЕГ СОШЕЛ

Много дней, как Балда с клюкой,  
Будешь ты обходить деревни.  
И попросишься на постой  
Греться в сумрак свечи вечерней.

Ты уродливых сухарей  
Наберешь на суму в заплатах.  
Как Коробочка, куличей  
С прошлой Пасхи, седых и помятых.

Гоголь, Пушкин всегда с тобой,  
Старички в неумолчном тлене.  
Прилетит архангел с трубой,  
Ты опустишься на колени.

Глядь — а рядом с тобою Блок  
С древнерусскими холодами.  
С синевою бездонной дорог  
И с сумой нищеты за плечами.

Это все мы истлели, дошли  
До Суда, что давно предрекали.  
Не шали, весна, не шали.  
Слушай голос грозы и печали!

\* \* \*

Предощущение весны  
Как неба сон неуловимый.  
Как глас судьбы непостижимый,  
Но мы понять его должны;  
Чтоб каждый час был только долг;  
Ненужного не станешь делать,  
Когда летят в тебя все стрелы,  
Взращенные за сто веков.

Ненужного не станешь делать,  
Но, размышляя о войне,  
Увидишь глаз ее в тепле  
И остро блещущие стрелы.  
Весной легко дышать земле.

Еще не скована корнями,  
Она едина с небесами  
Неясным вздохом по тебе.

## ДЕНЬ ПЕТЕРБУРГА В ИРКУТСКЕ

Нас, забытых, история  
Приглашает на бал.  
С блеском падает Глория —  
Ослепительный шквал.

Слезы сердце застлали.  
И слезинка одна  
Из зеркального зала  
Прокатилась в глаза.

Это день Петербурга —  
Рукотворных твердынь.  
Звонкий меч демиурга  
Под звездою Полюнь.

Шум дубрав по дороге.  
Это Пушкина речь.  
Нас сегодня немного.  
Нам себя не сберечь.

Потому что так скучно —  
Все тоска да покой.  
Лучше новые тучи  
Над пустыней земной.

Лучше пыль да тревоги  
Беспредельный размах.  
Нас сегодня немного  
В позабытых полях.

**Наталья Санеева**

*выпускница школы № 21, г. Иркутск*

\* \* \*

Забудешь в суматохе дней,  
Как волосы ласкает ветер,  
Как звезды стержнями ветвей

У берега рисуют дети.  
Я часто думаю о лете.  
Оно волнами лижет где-то  
Веревки тонкие сетей,  
Рыбацкий день спускает в травы  
Ржавелый зной, и облака  
Слегка окрашивают гавань  
В оттенки лавы и песка...  
Там ночью укрывают крыши  
От блеска звезд тревожный сон —  
Рыбак устал, он хрипло дышит,  
Его пугает слабый гром  
Над развалившейся хибарой.  
Он утром хочет на поклон  
Идти с заботами к шаману...  
Быть может, все давно не так.  
Старик-рыбак в хибаре умер,  
Над морем выцвела жара,  
Ветра, халву камней целуя,  
Сошли со скал, и день не стал  
Клониться к вечеру, а дети  
Ушли в дома, и рокот вод  
Омыл с песка при тихом свете  
Мечты людей и пену волн...  
.....  
За год пропустишь все на свете.

\* \* \*

Я когда-нибудь отсюда —  
В суматоху общежитий,  
В квартиранты, в звон посуды,  
В чье-то «к вечеру не ждите».  
В «не шумите» из тишайшей  
Тишины пустого дома,  
Где тома, где в каждой книге  
Жемчуг строк перецелован.  
Я когда-нибудь отсюда —  
Светлой памяти о детстве...  
Тише, память. Неподсудна  
Жажда к воле, даже если...  
Даже если каждый вечер  
В этом доме вложен в душу  
С чудной бережностью. Нечем  
Боль лечить — покой разрушен.  
Тише, сердце. Разбегаясь,  
Ударяясь птицей в стены,  
В запертость, печаль глотая  
Вместе с кровью — ранишь вены.  
Я когда-нибудь отсюда...  
Захлебнусь, в бездомность кинув  
Все. Беспечнейший Иуда —  
За порог. Расправлю спину.



Улица — обитель ветра —  
Мой приют, но и отсюда —  
Каждым двориком отпета,  
Каждой лужицей разута...  
Так — когда-нибудь.

\* \* \*

Я не люблю,  
Зачем мне это все —  
Весь город,  
Потонувший в сумасбродстве,  
Заласканный шептаньями ручьев.  
Люд верен, как всегда,  
Календарю —  
Толпа цветет  
В аляпистом уродстве.  
На вениках берез чернеют грозди  
Прижавшихся друг к другу воробьев.  
Зачем мне эта  
Масляность в глазах  
Прохожих и случайные улыбки,  
Безумье неба,  
Хриплость в голосах,  
И чьих-то взмах  
Ресниц, и воздух липкий.  
И этот рассопливившийся март,  
Которому лишь головы морочить  
Своими красками, да музыкой тирад  
Греть в ручьях, захлебываясь к ночи...  
В такое время кто-нибудь всегда  
Уходит прочь... а кто-то  
Жить не хочет.

\* \* \*

Не пускайте меня  
В этот холод осенний,  
В этот город из лестниц.  
По низким ступеням  
Так не хочется снова,  
Листву задевая,  
Бежать... Всюду плесень  
И мусором занят  
Пожилой человек  
В полинялой жилетке...  
Так тлетворно чадят  
Подожженные ветки  
В переспелых охапках,  
Пропитанных гарью.  
Не пускайте меня  
За грачиною стаей.

Придержите... Уютом  
Торшеры засвечены.  
Говорите, шумите  
До позднего вечера.  
Залечите ожоги  
Пожарищных всполохов.  
Небо стянуто. Где-то  
Надрывается колокол.  
Это рыжий октябрь  
Разуверился в Боге.  
И нещадно коптят  
Черным дымом дороги.  
Это рыжий октябрь —  
Глупец и расстрига.  
На печалях открыта  
Вновь осенняя книга.  
Не пускайте... От строчек,  
Начиненных горечью,  
Так легко просочиться  
В открытую форточку.

### **Марьяна Антонова**

*Лицей № 2, 8 класс, Иркутск*

### **ТИШИНА**

Тихонько в мысли постучалась тишина  
И попросила ни о чем не думать.  
Пушистой кошечкой уселась у окна  
И растворившись в воздухе, уснула  
А может даже, тихо умерла.

Но осторожно тюль приподняла,  
Клубочком легким облака впорхнула,  
От напряженья как бы замерла,  
Уснувшим царством дом весь обернула...

Не думала, что тишина такой бывает.  
Вся жизнь перед тобою проплывает,  
Воспоминания встают, свирель играет,  
Забвенье словно пелена костра —  
Плывет все в воздухе, колышется слегка  
И тихо тает, тает, замирает.

Потом внезапно трубы зазвучали,  
Все вздрогнуло, очнувшись ото сна,  
И звуки громко в стену постучали,  
А тишина, обидевшись, ушла.

## Сергей Гипслис

выпускник ИрГТУ

\* \* \*

Сотканный легкостью духа,  
Дышащий бодростью влаги,  
Мягче небесного пуха  
Мир на листочке бумаги.

Тайной непрошеной лаской  
Сердце он нежно смущает.  
Мило прикинувшись сказкой,  
В жизнь он себя воплощает.

## Андрей Матвеев

ИрГТУ, ДАС

### **ЛЮБОВЬ ТЕКЛА ПО ПРОВОДАМ**

Любовь текла по проводам,  
Искрили чувства, кровь кипела.  
Сплетались руки тут и там.  
Весна кошачьи песни пела.

Иркутск, промерзшие бока,  
Влюбленных холодом пугая,  
Хотел согреть, но облака  
Стыдливо солнце закрывали.

Но все же пары находили,  
Тепло... и отдавались снам.  
Иркутск согрет был только ими.  
Любовь текла по проводам.

### **К ДНЮ ГОРОДА**

Мое ощущение мира  
Находится в стадии «ноль».  
Ногам неудобно и сыро.  
Усталость да легкая боль.

Проносятся мимо машины,  
Деревья, фасады, столбы,  
Прохожих намокшие спины,  
От солнца веселой «пальбы».

Частично шпаною распорот,  
Кольшется чуть на ветру.  
Усталый «Любимый наш город».  
...Еще пересохло во рту.

## НАСТРОЕНИЕ. ВЕСНА

Весна растопырила пальцы,  
В безумном желаньи согрется.  
Подобно святому скитальцу,  
Швырялась остатками сердца.

В бездушные лица прохожих  
Долбились весенние ласки.  
Но хмурые, тусклые рожи  
Не верили радостной сказке.

Похлюпав, весеннее сердце  
Подсохло и трескаться стало.  
Закрылась наивная дверца...  
...Обиделось или устало...

## Любовь Волынец

\* \* \*

Вчера ловила нить начал,  
Ткала ковры с орнаментом покоя.  
Играя кисточкой весеннего луча,  
Одежды шила модного покроя.  
Я выводила новые узоры,  
Иглою мысли вышивая по канве,  
Украшив бисером росы, коль скоро  
Бутоны распускаются в траве.  
Их собирают дети, в вазы ставят  
И наблюдают, как они цветут.  
Над ними эльфы-бабочки летают  
И паутинкой радугу плетут.

\* \* \*

Я видела смятенье черных птиц  
И взгляд затравленный, и тяжесть оперенья.  
Их воля — подчинение границ  
Нижайшего вседозволенья.



\* \* \*

Опали лепестки моих надежд.  
Мечты пустые призраками стали.  
Я пыль стряхну с потрепанных одежд,  
И прочь уйдут тревоги и печали.

\* \* \*

Упала звезда на крышу,  
Рассмеялась осколками света,  
И сказала тем, кто услышит:  
«Ждать недолго осталось рассвета!»

## Виктор Горяшин

д. Ревякино, СПТУ № 17

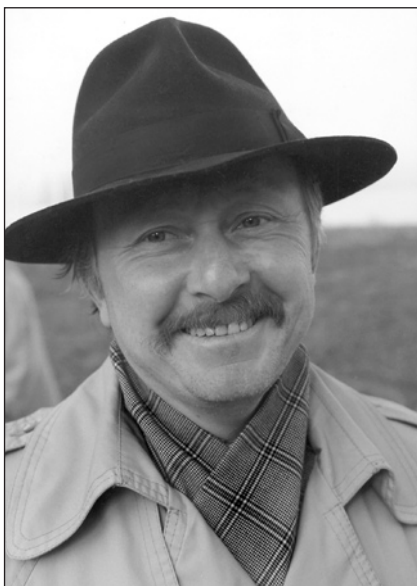
### ПОЖЕЛАНИЕ

Не забывай приход весны  
И аромат цветов душистых,  
И эти ласковые сны  
Сойдут к тебе с небес пушистых.  
Пройдет и долгая зима  
В томленье долгом ожиданья,  
Ты наконец поймешь сама,  
Что живы лишь воспоминанья.  
Но эти ласковые сны  
Сойдут к тебе с небес пушистых,  
Не забывай своей весны —  
Стремлений пламенных и чистых.

### ОБРАЗ

Твои молитвы Бог услышит,  
Нельзя не слышать просьб твоих.  
В тебе сердечный пламень дышит  
Намного чище, чем в других.

Не дай погибнуть им до срока —  
Своим пленительным мечтам.  
Как гибли девушки Востока  
Подобно сорванным цветам.



## Владимир Максимов

Член Союза писателей России. Родился в п. Кутулик. Среднюю школу закончил в г. Ангарске, где работал осмотрщиком вагонов на ТЭЦ-10. Потом учеба в Иркутском сельхозинституте на факультете охотоведения.

Затем с 1973 по 1978 год — учеба в Литературном институте. Автор многих стихов, рассказов, повестей.

Живет в Иркутске.

## ЗА ШТОРОЙ, С ЭТОЙ СТОРОНЫ...

Хлопья снега, медленно опускающиеся в желтоватом свете фонаря, были до неправдоподобия большими... Казалось, что снежинки плавно скользят сверху вниз по наклонно натянутым невидимым нитям...

Они скорее напоминали маленькие белые фонарики или крошечные парашютики, чем предновогодний легкий снег. Тень от этих «парашютиков» бестелесными бабочками порхала по белой, чистой, ровно укатанной между домов квартала дороге.

Падающий снег казался теплым...

Внезапно возникая (вначале как бы высвечиваясь изнутри), откуда-то из близкой — сразу же над фонарем — бархатной мягкой черноты, они, плавно кружась, заполняли собой почти весь яркий конус света, начинающийся чуть выше окон второго этажа...

Я хорошо запомнил этот фонарь, потому что еще пять минут назад он раздражал меня своим назойливым светом, когда я со своей однокласс-

ницей Бетой под пластинку Майи Кристалинской с ее шлягером этой зимы «А снег идет.. А снег идет.. И все мерцает и плывет..» танцевал в просторной комнате, освещенной только разноцветной елочной гирляндой (кто-то из танцующих ближе к двери погасил блистающую и слегка позвякивающую хрустальными подвесками, огромную даже для такой большой квартиры, как у Беты, люстру, радостный свет которой казался нам явно избыточным). Этот одинокий фонарь упрямо светил в наше незашторенное окно, разрушая полумрак почти до середины комнаты, где стояла елка.

Мне хотелось, чтобы кто-нибудь из наших одноклассников, танцующих ближе к окну, догадался и задернул тяжелую — от потолка до пола — оконную штору, раз уж нельзя погасить этот настырный фонарь.

— О чем ты думаешь? — тихо спросила меня Бета.

На своих высоких каблуках-шпиль-

ках, она стала на их длину, то есть сантиметров на десять выше меня. И было как-то непривычно смотреть на нее снизу вверх.

— О фонаре... Вернее, о тебе, конечно, в основном, — немного замешкавшись, весело ответил я.

— Врешь, как обычно, — улыбнулась Бета. — Интересно, всем врешь или только мне... а?

В темных Бетиных локонах, серпантинном обрамляющих лицо, и в ее гладко зачесанных на прямой пробор иссиня-черных волосах (в манере начала XIX века, «а ля Наташа Ростова. Первый бал», который с такой подробностью разбирала в классе с нами наша учительница литературы) виднелись разноцветные кружочки конфетти.

Локон то укорачивался, то удлинялся, пружиня в ритме танца и щекоча мне висок. А от Бетиной щеки, темный румянец на которой был виден даже в этом цветном полумраке, пахло яблоневой свежестью. И когда мои губы «невзначай» — для чего мне пришлось привстать на цыпочки — коснулись ее щеки, я почувствовал такую же яблочную упругость и прохладу кожи, как будто Бета только что пришла с мороза.

Мимолетного прикосновения моих губ к ее щеке она, казалось, не заметила...

— А ты о чем думаешь? — спросил я ее.

— О многом...

— Ну, например?..

— Я... вдруг вспомнила как ты мне прилепил эту казавшуюся мне тогда такой дурацкой кличку — Бета... Я, честно говоря, не думала, что она ко мне прирастет. А теперь мне даже нравится... Бе-Та, — нараспев произнесла она. — Есть в этих звуках что-то от имен английской знати...

После ее слов мне сразу же припомнился тот яркий солнечный веселый и с грустинкой день. Первое сентября...

Весь наш выпускной 11 «Б» после «Первого звонка» — для нарядных первоклашек нового, а для нас уже последнего учебного года — уселся за свои вновь покрашенные парты.

Наша «классная!» руководительница — Анастасия Дмитриевна, с сере-

бринками седины в аккуратной тугой прическе, ввела в класс новенькую, в ослепительно белом школьном фартуке девушку с длинными распущенными черными волосами.

— Вот, познакомьтесь, ребята. Это Белокрылова Таня. Она приехала в наш сухопутный город из Владивостока, с берега океана, можно сказать. И будет теперь учиться с вами. Садись, Таня, на свободное место.

Новенькая села на пустующую последнюю парту среднего ряда. Я тоже сидел «на Камчатке», но только в третьем ряду, у окна.

Когда Татьяна садилась на место, она взмахнула головой, и ее волосы, вначале распутившись черным крылом, упали ей на спину.

«Чернокрылиха» — на первой же перемене каких-то совсем необязательных первосентябрьских занятий окрестила новенькую в кругу своих подруг с ревнивым чувством уже бывшей первой красавицы прима нашего класса Люда Година, интуитивно почувствовавшая достойную соперницу.

Я в то время читал книгу Пантелеева «Республика Шкид», и у меня, как и у обитателей Шкиды, была страсть к конструированию новых имен, сложенных из начальных частей старых.

(Наша классная прозывалась у меня на греческий манер — Анасди. Правда, имя это к ней как-то не пристало.)

Так Белокрылова Таня и стала Бетой.

Отец Беты был офицер.

Его с повышением в должности перевели в наш маленький городок командовать полком.

Мать Беты, которая, наверное, лет на пятнадцать, не меньше, была моложе своего супруга, называла себя домохозяйкой.

Казалось, что родителям Беты, которые и без того уже исколесили полстраны, переезжая то и дело на новое место жительства и службы, из города в город или в какой-нибудь забытый Богом и людьми скучный степной гарнизон, и никогда нигде не останавливающимся надолго, и полчаса не усидеть на месте.

Люди они были веселые, общительные и в любом месте быстро обрастали

если не новыми друзьями, то новыми знакомыми уж точно! Легко забывая старые привязанности и выпавших из их нового круга жизни приятелей. Казалось, что кроме них самих, даже среди посторонних, но обязательно беззаботных и веселых людей им больше никто и не нужен.

Они вечно куда-то уезжали или уходили к своим многочисленным однодневным друзьям, оставляя в «освободившейся жилплощади» забитый до отказа всякой снедью холодильник ЗИЛ, похожий скорее на средних размеров платяной шкаф с закругленными гранями, и — Бету, «следить за порядком в квартире».

Сами же они все время куда-то спешили.

Отец Беты то доставал билеты на концерт заезжих знаменитостей, то на премьеру в театр, расположенный в областном центре, в пятидесяти километрах от нашего города, то на поезд дальнего следования, то на самолет. И тогда мать Беты быстро и привычно (это она, в отличие от повседневных домашних дел, которые не любила и которыми почти не занималась, делала виртуозно) заполняла своими многочисленными нарядами вместительные кожаные чемоданы. И они, зачастую выпорхнув из нашей сибирской зимней стужи, вдруг оказывались среди пальм в каком-нибудь укромном уголке Черного моря, в доме бывшего сослуживца Бетиного отца, вышедшего в отставку и занимающегося теперь только садом, пчелами и изготовлением различных вин.

Мать Беты, когда я видел ее, напоминала мне почему-то яркую, весело порхающую, бабочку.

Кое-кто из нашего класса, и первая — Година, ставшая «лучшей» подружкой Беты, по-достоинству впоследствии оценили непоседливый характер ее родителей. Ибо в их огромной квартире, где комнаты с паркетными полами скорее напоминали по площади небольшие теннисные корты, чем жилые помещения, так было приятно, удобно, бесхлопотно собираться на всевозможные праздники и дни рождения...

С дня рождения, кстати, все и началось.

Не прошло и месяца с начала учебного года, как новенькая на одной из перемен пригласила к себе на день рождения весь класс!

Такого размаха мои одноклассники доселе не знали. И наверное, поэтому многие восприняли это приглашение только как красивый широкий жест, несколько театральный даже. Потому что и пришло на день рождения человек десять — не больше.

Там я впервые и увидел родителей Татьяны.

Высокого, веселого, подтянутого, с такими же гладкими глянцевыми черными волосами, синими, как у Беты, глазами и с жизнерадостным молодым румянцем во всю щеку Юрия Александровича и еще более веселую, почти все время заразительно смеющуюся, то и дело танцующую с кем-нибудь из нас Елену Игоревну.

Как-то даже не верилось, что обычно задумчивая Бета и есть их единственная дочь.

— А еще я знаешь что вспомнила? — спросила меня Бета.

Мы теперь едва топтались на месте, в пространстве между широким подоконником и высоченной, почти до самого потолка, пушистой елкой, скрытые ею ото всех. Так что единственными свидетелями нашего разговора и наших действий могли быть только эта нарядная елка и веселый фонарь с той стороны окна.

— Что?

— Как ты, отвечая на уроке истории, называл Македонского Александром Филипповичем, словно это был не великий полководец, а какой-нибудь завхоз...

— А еще о чем ты думаешь? — спросил я Татьяну с каким-то замирающим предчувствием.

— Еще я думаю о том, как там мои друзья во Владивостоке без меня справляют Новый год... Ты знаешь, мне всегда хотелось чего-нибудь постоянного... — как-то очень грустно сказала Бета. Но эта ее последняя фраза легко прошла мимо моего сознания, ибо меня зацепила фраза предыдущая. Наверное, еще и потому, что я ожидал услышать нечто совсем иное.

— А о своем морском без пяти минут



лейтенантике, который обещал прилететь к тебе на Новый год (неизвестно как добытыми этими сведения со мной «любезно» поделилась Люда Година), тоже вспомнила?

— Да, и о нем тоже...

Бета совсем не умела врать. И не делала этого даже тогда, когда это сулило ей какие-то выгоды или спокойствие душевное.

— О его стройной фигуре, затянутой в белый китель! — меня куда-то понесло, да так, что я уже не мог остановиться. Я будто бы со стороны уже увидел, что мы с Таней не танцуем, а просто стоим напротив друг друга. — А может быть, ему солдатская шинель была бы более к лицу?.. (Лермонтовского «Героя нашего времени» с доскональным разбором «значения и роли солдатской шинели» для Грушницкого и княжны Мери мы тоже изучали на уроках «литры» весьма подробно.)

— А ты знаешь! — Бета еще слегка отстранилась, словно пытаясь лучше рассмотреть меня, будто увидела впервые, причем с обидным любопытством страстного энтомолога, с которым тот рассматривает каких-то невообразимых форм и расцветки невидимого ранее жучка. Она некоторое время молча и внимательно смотрела на меня сверху вниз, с высоты своих изящных каблучков. — Тебе даже идет... Быть клоуном...

Это бы я, пожалуй, стерпел. Но она кольнула меня потом в самое уязвимое место.

— Маленький ты еще совсем. Маленький капризный карапузик, выпивший слишком много шампанского и возомнивший себя Гэ Аа Печориним. (Я же говорил, что «Герой нашего времени» после назойливых уроков литературы был вдолблен в нас просто намертво. И я, конечно же, в те юные годы, хотел быть похожим на Григория Александровича — Бета это угадала.) — Я и то выше тебя. — Она провела ребром ладони от моего затылка, слегка взъерошив этим обидным жестом на макушке мои волосы, до своих глаз, как бы обозначая ту черту, до которой я дотянул.

— Ты, Бета, не выше меня. Ты — длиннее. А к длинным, как известно,

ум всегда приходит позже. Слишком уж долог путь от земли-матушки к голове, — очень спокойно — сам удивляясь этому спокойствию, потому что чувство падения с огромной высоты было почти реальным — совершенно пересохшим горлом сказал я, понимая: что-то очень хрупкое рушится, разлетается на мелкие осколки прямо у меня на глазах. И собрать это нечто вряд ли снова уже удастся.

Снег был почти невесомый. И мягкий, словно пух...

Я поднял широкий шалевый воротник своего темно-синего пальто и улегся спиной на высоком, перинном, снежном валу (созданном вдоль дороги усилиями неведомого мне аккуратного дворника) под фонарем.

Оба окна угловой Бетиной комнаты ярко вспыхнули светом. («Наверное, усаживаются за стол», — подумал я.) И увидел, как высокая Люда Година со своей гордо посаженной головой подошла к окну, выходящему на мою сторону, и, усевшись на широкий подоконник под приоткрытой форточкой закурила.

Этот подоконник был моим любимым местом в Бетиной квартире.

Сколько раз мы сидели там на нем вместе с ней, отгородившись плотной шторой от остального пространства комнаты.

Година увидела меня и жестом руки позвала вернуться. Я, лежа на снегу, отрицательно помотал головой, отчего мне за ворот попал снег, оказавшийся совсем не теплым, каким он мне чудился в воздухе.

Людмила покрутила указательным пальцем у виска, как бы давая оценку моим умственным способностям в связи с этим отказом. Я как будто бы даже услышал ее обычное «Вот дурик!», произнесенное приятным низким голосом.

Година изящным щелчком выбросила недокурную сигарету в форточку (та ярким красноватым светлячком, прочертив на темном фоне плавную дугу, упала в наметенный у стены дома сугроб), закрыла ее и отошла от окна. Через полминуты, показавшиеся мне такими долгими, она вернулась к

нему вместе с Бетой. Она что-то сказала ей, слегка наклонив свою голову к ее лицу, и показала на меня пальцем. Но Бета — я это почувствовал сразу — еще раньше увидела меня и внимательно, неотрывно, неподвижно, со своим обычным слегка печальным выражением лица смотрела на меня.

Казалось, что наши глаза находятся на одной пологой линии, только с разных ее сторон...

Годиною у окна уже не было.

Через мгновение все пространство окна заполнила веселая, галдящая, жестикулирующая, строящая рожицы компашка.

Сергея Сысоев — высокий (выше всех), красивый, в белой рубашке и галстучке бабочкой, двумя руками, как бы подгребая воздух к своей груди, звал меня обратно, изображая этот жест над головами одноклассников.

Мне так хотелось вернуться! И я бы сделал это с радостью.

Я был согласен даже быть «весь вечер на арене». Но быть весь вечер на манеже клоуном я все же не желал. Да к тому же Бета по-прежнему стояла неподвижно, словно загнипнотизированная, и не делала даже никакого подобия тех жестов, которыми продолжали меня зазывать одноклассники.

Я вдруг почувствовал, словно сам себя увидел сверху, как я, должно быть, нелепо выгляжу лежащим в сугробе под фонарем, изображающим из себя эдакого беззаботного гуляку, который от полноты чувств и красоты ночи улегся чуть ли не посреди улицы и ловит ртом парящие снежинки.

В это время за окном что-то произошло, и все стали расходиться. А оставшаяся у окна последней Бета начала очень медленно задерживать желтую штору окна. Затем она подошла ко второй его половине и так же медленно, но уже не глядя на меня, а поглядывая куда-то вверх, будто что-то там мешало шторе плавно двигаться, задержала наглухо и ее.

Теперь мне были видны лишь силуэты моих друзей. И я видел, как эти тени-силуэты начали рассаживаться за столом.

Шел последний час старого года...

А новый снег все падал и кружил...

После закрытия штор я сразу как-то обессилел. Словно для меня все вдруг лишилось смысла. Хотя и надеялся еще, что Бета вот-вот выйдет из подъезда в своей длинной темной шубке и позовет меня назад.

Но двери подъезда, увы, оставались безмолвны.

«Мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег... Он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу...» — пела Майя Кристалинская теперь уже в квартире, находящейся под Бетиной, на первом этаже.

У этой квартиры было трапециевидное, выступающее в улицу окно-эркер, задником которого как бы служила штора.

«Вот опять окно, где еще не спят...

Может, пьют вино. Может, так сидят...»

— За старый год! — заорал Сергей Сысоев. А я, услышав его слова, докатившиеся до меня, как снежки, по плотному холодному воздуху из открытой форточки, даже как будто увидел петушок его темных волос, радостно подрагивающих в такт порывистым движениям.

«Вот и этот год старик...» — подумал я.

Тяжелая, наглухо задернутая зеленая штора в квартире на первом этаже отделяла от комнаты маленький уютный уголок застекленного с трех сторон пространства, со множеством кактусов и прочей зелени, стоящей на одном краю широченного белого подоконника.

Я встал. Отряхнул пальто. Расправил воротник. Взглянул на часы.

Было пять минут двенадцатого.

Несмотря на бодрящий холодный воздух, ноги в полуботинках, или «корочках», как мы их тогда называли, почти не мерзли, и под пальто было приятное тепло, как в норке.

— Сколько времени, браток? — услышал я веселый энергичный голос.

— Пять минут полночи, — ответил я и обернулся, чтобы разглядеть обладателя этого энергичного голоса, убедившись, что он имеет кроме одного не менее энергичные движения и яркую, как солнечный зайчик, улыбку.

— Значит, успеваю, — сказал морской офицер и предложил мне сигарету.

— Спасибо, не курю, — вяло ответил я этому веселому лейтенанту и позабавлялся ладно сидящей на нем черной морской шинели, белому шарфику, черной фуражке с красивой кокардой и светлыми серебристыми погонами, еще больше подчеркивающими ширину его плеч.

— Подержи, браток, не в службу, а в дружбу, — попросил он, передавая мне большую коробку с тортом, а сам, стянув со своей руки туго облегающую кожаную перчатку, расстегнул весьма вместительный портфель и стал что-то искать в его внутреннем кармашке.

В портфеле я успел разглядеть бутылку шампанского, ананас, который я до этого видел только на картинках, и... яркие рубиновые розы в прозрачном целлофане.

Он извлек из портфеля распечатанный конверт, взглянул на него и спросил:

— Это улица Фестивальная?

— Да.

— А дом не девятнадцатый?

— Девятнадцатый. И квартира шестьдесят пятая здесь, — уже все понимая ответил я, указывая на Бетин подъезд.

— А ты откуда знаешь, что мне в шестьдесят пятую? — хитровато улыбувшись, спросил он.

— Интуиция, — ответил я. — Да и городок у нас совсем ма-а-а-ленький. Все всё про всех знают, — каким-то пустым, бесцветным, замороженным голосом едва выговорил я.

Он достал из яркой красивой пачки сигарету, щелкнул зажигалкой с откидывающейся крышкой, глубоко затянулся, все это время с любопытством разглядывая меня, как бы оценивая, сколько за меня можно взять или дать. (А может быть, просто не решаясь сразу войти в подъезд?)

Видимо, моя «цена» показалась ему не слишком высокой, и он, вздернув головой, отгоняя то ли сигаретный дым, то ли какие-то свои беспокойные мысли, спросил:

— А ты чего такой кислый? — он уже глядел вверх, на разноцветные яркие

окна дома, а не на меня. — С девчонкой своей, что ли, поссорился?

Я ничего не ответил.

А он продолжил, разговаривая как бы уже с самим собой.

— Им, браток, как норовистым лошадям, шенкеля нужны и шпоры!.. Да еще — быстрота и натиск!.. Тем более нынче... Ведь год-то какой настает? Что слева направо, что справа налево смотри — одно и то же получается. Прямо двуликий Янус! Такой год только раз в столетие и бывает. И тут главное промаху не дать — точно в десятку ударить!

Решительно отбросив в сугроб, где я только что лежал и где от меня осталась в снегу какая-то смешная, нелепая вмятина, едва начатую сигарету — она некоторое время еще тлела похожим на глаз волка в ночи красноватым огоньком, — он взял у меня из рук коробку с тортом и, будто действительно всаживая шпоры в бока неведомой взмыленной лошади, шагнул к подъезду.

Лицо у него в этот момент было очень решительное, даже злое, и потому — некрасивое.

Эта резкая перемена в его внешности как-то более-менее примирила меня с действительностью и с самим собой.

«...За то, что ты в моей судьбе — спасибо, снег, тебе...» — продолжала петь Майя Кристалинская.

Штора в комнате на первом этаже распахнулась! Блеснув в образовавшееся пространство ярким светом и выхватив на мгновение нарядно одетых танцующих людей, краешек праздничного стола с белой скатертью, бутылками шампанского, фруктами и разнообразными закусками на нем.

В околооконном пространстве за вновь задернутой шторой, как на сцене, обращенной в улицу, невидимые для тех, кто находился в комнате, остались двое. Молодой человек в очках (хотя тогда, в мои весьма юные годы, он мне таким уж молодым не казался, потому что ему было, наверное, лет двадцать пять) и девушка в длинных, выше локтя, белых атласных перчатках и в белоснежном, сильно приталенном и весьма смело декольтированном платье.

Таких красивых женщин и такой идеальной фигуры я, казалось, еще никогда не видел даже в кино. Она будто сошла с обложки журнала мод уходящего года, но была, пожалуй, даже чуть старше парня. Скорбные складки в уголках ее красиво очерченного, с почти по-детски пухлыми губами рта выдавали это.

Молодой человек сел на подоконник спиной к стеклу и ко мне, и я заметил у него на затылке довольно приличный круг начинающейся залысины, которую уже не могли скрыть его густые вьющиеся волосы.

На подоконник рядом с собой он поставил два длинноногих бокала и наполнил их красным вином.

Девушка в это время как-то очень рассеянно смотрела выше его головы в окно на падающий снег. И по ее взгляду трудно было понять, видит она меня или нет. Хотя не увидеть человека под фонарем, в освещенном конусе яркого света было почти невозможно.

Нас разделяло лишь несколько метров и стекло окна.

Ее золотистые волосы были собраны в высокий «кокон», как у киноактрис, играющих первые роли в тогдашних фильмах.

«Физик», так я почему-то сразу обозначил парня, поставил на подоконник бутылку и подал девушке бокал с вином. Взял свой. Встал. По-видимому, что-то сказал ей, и они выпили на брудершафт.

Потом он аккуратно, не спеша поставил бокалы — сначала свой, потом ее, подождав, пока она допьет вино — на подоконник, рядом с полунаполненной бутылкой вина и как-то уж очень привычно и буднично притянул девушку к себе.

Он поцеловал ее сначала в одну, затем в другую щеку. Потом в губы. (Поцелуй был долгим и каким-то киношным — словно партнеры исполняли как минимум сто двадцать первый дубль, — ненатуральным будто.) И все это время девушка упиралась своими белыми перчатками в его плечи, облаченные, как в свободную кольчугу, в свитер грубой вязки.

Закончив дело, он снова сел на подоконник и еще раз наполнил бокалы.

Взяв девушку за руку, он потянул ее к себе, пытаясь усадить рядом. Но она, лишь качнувшись вперед, осталась стоять, отрицательно покачивая головой, видимо, в ответ на какие-то его слова.

Парень порывисто встал и исчез за шторой, в комнате, на мгновение «облив» фигуру девушки в ее светлом, почти прозрачном платье янтарным теплым светом причудливой блестящей люстры.

Она все так же рассеянно взяла с подоконника свой бокал, подняла его до уровня глаз, как бы рассматривая вино на цвет, и, улыбнувшись вдруг такой доброй открытой улыбкой, подмигнув мне, все еще стоящему под фонарем и глазевшему, как в кинозале на одного зрителя, на нее, послала воздушный поцелуй, который словно сдула с кончиков своих изящных пальцев, сначала коснувшись ими своих ярких губ. При этом она слегка задела верхней расширяющейся гранью своего бокала оконное стекло, будто чокнувшись с кем-то невидимым. А может быть, и с отражением ее же бокала в глубине стекла. Она отпила несколько глотков, и по движению ее губ я скорее догадался, чем понял, что она по слогам произнесла мне: «С Но-вым го-дом!» И еще что-то. Чего я разобрать уже не смог. Хотя как будто бы и услышал. «Иди сюда. К нам!» И даже ее жест рукой — от стекла к груди, похоже, говорил о том же.

«Странно, — подумал я. — Никому я сегодня не нужен, и все меня все же зовут, кроме Беты, правда. Может быть, во мне есть действительно что-то клоунское».

«Физик» с тарелкой, наполненной закуской, вернулся так же стремительно, как и исчез.

Они стоя выпили еще вина, и парень притянул ее к себе снова, пытаясь поцеловать, но девушка отклонилась, и ее подбородок оказался у него на плече, а руки за спиной. Создавалось такое впечатление, что они без движений и музыки начали танцевать какой-то томный танец. Правда, такому танцу не соответствовали глаза девушки. Они были слишком грустны... Пожалуй, даже намного печальней моих.

И глядя на меня своими грустными глазами, она еще что-то произнесла од-



ними губами, едва раскрывая их. То ли «Не горюй!», то ли «Будь счастлив».

И то и другое, как я успел понять, хотя и не уверен, что точно разобрал ее слова, было, пожалуй, так необходимо нам обоим.

Я согласно кивнул ей в ответ. Потом подбросил вверх снежок. И пока он взлетал выше фонаря в черноту неба, показал ей большой оттопыренный палец сложенной в кулак руки. Дескать, «все в порядке!»

Минут через десять я оказался на городской елке со множеством расположенных вокруг нее горок и снежным городком.

Веселье здесь было в самом разгаре!

И я тоже старался веселиться вовсю, катаясь вместе с визжащей, гикающей, хохочущей публикой с разной высоты горок! А когда на площади, на башне со шпилем, на подсвеченном изнутри циферблате часов пробило 12 и сильно поредевшие вокруг елки любители скоростной езды стали орать во все горло разудалыми хмельными голосами: «У-рр-аа!», «С Новым годом! С новым счастьем!» и запускать в темно-фиолетовое небо разноцветные ракеты, и взрывать хлопушки, кто-то сунул мне в одну руку холодный и твердый пирожок с рисом, а в другую — бумажный стаканчик с пузырящимся шампанским, пробки которого то тут, то там взлетали вверх, сопровождаемые визгом и новыми криками.

— С Новым годом, парень! Не грусти, все будет хорошо! — произнесли рядом со мной несколько веселых голосов.

.....

Со своими новыми друзьями я попал в какую-то разухабисто-разношерстную и разновозрастную компанию, собранную, по-видимому, по случайному принципу.

Там, в довольно неряшливой квартире, я много пил (уже не разбирая что), ел и то и дело танцевал с постоянно выдергивающей меня из-за стола крупной, ярко окрашенной (по-видимому, у этой рано созревшей дивы это был своего рода боевой раскрас, с которым выходят и на тропу войны, и

на охоту за дичью, за скальпами ли) вертлявой девицей с неохватным бюстом, который все норовил от наших столь быстрых и сумбурных движений перескочить за низкую грань ее декольте. После очередного танца она вдруг намертво прижала меня в кухне спиной к стенке (кстати, я до сих пор так и не могу понять, как там оказался; может быть, моя партнерша просто стремительно перебросила меня туда из комнаты — ибо я не шагал туда, это уж точно, — а я воспринял это как очередное па нашего твиста, чарльстона ли...), между шкафом-пеналом и раковиной с грязной посудой и остатками противно размокшей в ней пищи, целовала навзрыд, повторяя в промежутках между все более затяжными поцелуями, как припев: «Шлеп большой и тяга есть!..», имея в виду скорее всего себя все-таки и не принимая во внимание мое, впрочем, весьма вялое сопротивление...

Едва вырвавшись — кажется, я попросился в туалет — из ее упругих, но сильных объятий, я снова оказался на горке, среди веселых, крепко подвыпивших горожан и ряженных.

Женщина в костюме цыганки нагадала мне много счастья, красавицу жену и — «кучу здоровых детишек».

И впоследствии почти все из ее вожжи, как ни странно, сбылось. С «кучей детишек» она только промахнулась.

Потом уже, в какой-то другой, очень интеллигентной компании, где в полумраке свечей и гирлянд, кажется, и говорили-то вполголоса и где я совершенно непонятно как оказался, я встретил Бетину мать...

Там ко мне отнесли, по-моему, как к блудному сыну, раскаявшемуся в своих многочисленных прегрешениях и вернувшемуся наконец под отчий кров.

Среди этих милых, степенных, остроумных людей я, несомненно, был инородным телом и по инерции до неприличия громко хохотал из-за любого пустяка. Особенно меня веселили почему-то брызжущие внезапно искрами бенгальские огни. Мне было страшно интересно наблюдать это искрение, сбегующее по металлическому

стерженьку все ниже и ниже и старающееся как можно скорее, и веселее главное, сжечь себя.

Помню, как я танцевал с какой-то красивой женщиной бальзаковского возраста очень медленный танец и меня вдруг начало мутить от запаха ее изысканных духов и губной помады.

Дотанцевали ли мы танец до конца, я не помню...

Точно знаю только, что значительную часть времени я простоял на мягком коврике в ванной комнате, на коленях перед розовым унитазом, держась руками за его края, и меня долго и нещадно, до икоты, до колик в животе рвало, словно из меня выходила вся мерзость, накопленная мною не только за прошлый год, но и за всю мою предыдущую жизнь.

И столько дряни, скопившейся во мне за столь короткую жизнь, я даже, честно говоря, и предположить не мог. Ее, этой пакости, изрыгаемой из меня, я думаю, вполне могло хватить даже на очень долгую жизнь...

Потом, уже умытый и притихший, в огромной прихожей, куда меня, как одноклассника дочери, вышла проводить Бетина мать, где-то в углу среди вороха шуб и пальто, я пытался ее целовать, пораженный ее свежестью и красотой, в шею, в щеку, в губы...

Не помню, правда, насколько успешно закончились мои попытки. А вот ее залихватистый смех над моими донжуанскими попытками помню отчетливо.

Домой я возвращался совершенно очищенный, в прямом и переносном смысле, по абсолютно пустынному, «мертвому» городу, как-то странно и тускло освещенному первым январским утром уже следующего года...

«Вот и январь накатил, налетел, бешеный как электричка», — с грустью подумал я.

По сквозным и тихим улицам, втыкающимся в городскую площадь с елкой посередине, ветер, тихо шурша ими, гнал прочь обертки от конфет и конфетти, обрывки серпантинных цветных лент...

И этот разноцветный «снег» из конфетти был совсем не грустным, а, напротив, каким-то озорным.

На площади валялись разорванные

маски, бутылки из-под шампанского, раздавленные бумажные и пластиковые стаканчики... Разноцветный карнавальный хлам.

Безвременье, которое зелеными точками высвечивали на этой площади электронные часы, когда пробило полночь и на их темном табло светились только четыре зеленых нуля, кончилось...

Теперь они показывали. 09.11. А через мгновение — на том же месте. — 18 °С.

Проходя мимо Бетиного дома, я взглянул на плотно зашторенное окно их «залы» и — на окно на первом этаже, где я видел в прошлом году — десять часов назад — красивую девушку и ее друга.

На оконном стекле, чуть ниже форточки, где задремучились морозные причудливые леса, протаянное, видимо, дыханием или прикосновением теплого пальца к ним, красовалось нарисованное сердце, пронзенное стрелой, и чуть пониже — буквы. «Я Т. Л.» А на подоконнике так и осталась стоять недопитая бутылка вина и два высоких стеклянных бокала.

Я грустно улыбнулся, потому что очень хорошо знал этот немудреный шифр, поскольку сам не раз пользовался им. И — не далее как вчера, но уже в прошлом... году я произнес эти слова, но только полностью, еще до нашей ссоры с Таней, когда помогал ей накрывать на стол и никого из наших друзей еще не было. «Бета, я тебя люблю...»

Сейчас я произнес иное.

— Всем общий привет! — сказал я, не то воображаемой девушке с парнем с первого этажа, не то своим неизвестно где прикорнувшим — а может и нет — в это время одноклассникам и низко поклонился, широко разведя в стороны руки, в одной из которых держал сейчас свою шапку.

В это время я до противности реально ощутил себя действительно клоуном, стоящим в центре ярко освещенной арены, но все-таки закончил, по инерции скорее:

— Я пошел домой, баиньки...

Утро первого дня года выдалось довольно мутное.

И на душе у меня снова сделалось



муторно, как будто бы что-то единственное и очень хорошее, что было в моей жизни, исчезло навсегда.

В размытом сероватом свете все еще кружил прошлогодний снежок. Он пах свежо, морозно, яблочно, как Бетина щека, когда я прикасался к ней губами...

Я писал этот рассказ на берегу изумительно красивого, какого-то изумрудного залива с прекрасными высокими прямыми соснами по его берегам, где мы отдыхали с женой и сынишкой, и наша лодка, доставившая нас на этот остров и теперь привязанная к ивовым ветвям, покачивалась на волнах, превращавших, после того как волна плавно набегала на берег, желтый песок в темно-серый...

И почему-то этот контраст желтого и темно-серого песка напоминал об осени.

«Отчего душе моей сродни пасмурные дни. Отчего люблю песок сыпучий с темною полоской у воды. Запах торфа. Дождевые тучи. В дюнах цапли тонкие следы».

Жена загорала на желтом песке, при-

крыв от солнца широкими полями соломенной шляпы лицо.

Сынишка с закатанными штанами, стоя по колено в воде, весьма успешно наловчился дергать на блесну небольших щук, травянок.

Я сидел под сосной, прислонившись спиной к ее сухому шершавому стволу, и писал...

И среди этой дремотной жары набежавший от залива прохладный ветерок и серый песок у уреза воды вдруг очень отчетливо напомнили мне падающий снег. И тот Новый год двойной десятки, который сулил столько счастья тому, кто точно попадает хотя бы в одну из них...

Я еще не знал тогда, что первая любовь, как правило, трагична. В лучшем случае — печальна. И для того, чтобы не длить печаль, ее не надо стараться удерживать.

Я всегда с большой теплотой вспоминаю Бету и с большой грустью — девушку, которую я увидел в ту новогоднюю ночь за шторой, с этой стороны...

Жаль, что я ее не знал. И теперь уже, конечно, никогда не узнаю даже имени ее.

*Большой Калей, 1992  
Иркутск, 1994–1996*

**Дмитрий Максимов**

*аспирант ИГУ, исторический факультет*

## ПЕРЕХОД

Дирк Питт устало сдернул маску. Мир погрузился во тьму. Здесь всегда тихо. Темно и тихо. Насколько хватает глаз, тянутся сырые безжизненные коридоры и галереи, увешанные хаотично переплетенными кабелями и трубами. Но стоит прислушаться и приглядеться, и мир изменится. Где-то чуть слышно капает вода, тихо доносятся невесть как просочившиеся с поверхности звуки, шуршат покрытыми хитином тельцами насекомые — старожилы

Земли. Они тоже изменились. В редкие свободные минуты Дирк зачарованно следил за этими причудливыми детисами природы и радиации. Огромный мир, не зависящий от самозваного хозяина природы, своим молчаливым и безразличным существованием бросающий вызов безволосой обезьяне, умудрившейся подчинить себе атом. Когда-то Дирк мечтал стать биологом. Он усмехнулся. Когда-то... Когда-то все было по-другому.

Если бы кто-нибудь тогда сказал ему, что он, Дирк Питт, через 9 лет будет работать ремонтником подземных коммуникаций, он рассмеялся бы. Да, девять лет назад случилось то, что изменило его жизнь навсегда. Он сплюнул, борясь с воспоминаниями. Ему на помощь пришел красный огонек, замигавший на запястье. Дирк надел маску и включил внутреннюю связь. «...тральная — полстапятаому, прием, центральная — полстапятаому, прием», — зазвучал сухой женский голос.

— Полстапятый на связи.

— Где тебя черти носят, Питт? Две минуты пробиваюсь.

— Помехи на линии, Мари. Ты же знаешь, так глубоко связь часто дает сбои.

— Доиграешься, Дирк. Гастовски и так волком смотрит, ты первый в его списке.

— Ага, и кто тогда будет затыкать все эти долбаные дыры? Может быть, наш босс заткнет их своим необъятным пузом?

Мари прыснула. В наушниках ее смех прозвучал как череда помех.

— Нет, сегодня этим займешься ты. А-9, под энергостанцией.

— Хм, не очень-то близко. Другого никого не нашли? — Дирк не любил жаловаться, даже на самую тяжелую работу, ему просто хотелось подольше поговорить, прежде чем снова погрузиться во тьму и тишину.

— Ты ближе всех. Конец связи.

Дирк переключил маску в ночной режим. Огляделся. Встроенный прибор ночного видения окрасил мир в зеленые тона. Чтобы попасть в А-9, ему не требовалось вызывать карту на внутреннем дисплее. Он давно выучил подземные лабиринты городских коммуникаций. Иногда он даже видел их во сне. Грань между реальностью и бредом сознания постепенно стиралась. Хотя что такое реальность, как не отражение мира в нашем сознании? Старик-лектор любил рассуждать на такие темы. Интересно, где он сейчас? Дирк сжал закованный в металл протез и ударил по кнопке лифта. Вот она, твоя реальность, дружище. Сырость и тьма. Тьма и тишина. И так до конца. Хотя что такое лишние 20 или 30 лет

по сравнению с вечностью? Ровным счетом ничего.

Он был уверен, что гораздо ближе к А-9 были и другие рабочие, просто эта шахта считалась среди ремонтников, большинство из которых были недалекими людьми, чуть ли не воротами в ад. «Никакой прогресс не выбьет из людских голов суеверия и нелепые страхи», — подумал Дирк. — Взять хотя бы историю о том, что при постройке шахты строителям являлся призрак в скафандре, или случай со стариной Уилли, который пошел туда и не вернулся, а перед этим он якобы говорил что-то про другие миры и голубое сияние. У бедняги, наверное, случилось кислородное голодание, и его труп просто лежит сейчас под грудой камней, в каком-нибудь заброшенном туннеле». Он знал Уилли.

Во время стремительного полета лифта сквозь тьму Дирк привалился к стене и пялился в потолок. Он не считал пролеты. Ему был нужен самый нижний. Нулевой ярус, построенный еще в 2025 году. Тогда реакторы старались запрятать как можно глубже.

Лифт судорожно вздрогнул и остановился. Нулевой. Долгие годы работы под землей не отняли у Дирка осторожности, он хорошо помнил, что случилось с Бадди, когда охлаждающая жидкость попала ему под шлем. И как горел техник-ядерщик Иван, метаясь в узком пространстве туннеля словно огромный светляк. Затихая и угасая. А эхо еще долго играло с его криком, перебрасываясь им по бесконечным переходам и галереям. На нижних ярусах нужно было ходить в абсолютно герметичном скафандре. Дышать здешним воздухом стал бы только самоубийца, да и вообще в скафандре надежнее. «Лучше пере-, чем недо-», — усмехнулся Дирк. Он вспомнил инструктора по технике безопасности.

«Техника безопасности — это ваша мать, обезьяны!» — орал тот на хлопающих глазами новичков. «Ты был прав, Рой», — подумал Дирк, проверяя, не разболтались ли крепления. Порядок, теперь шлем. Надеть, проверить герметичность. Включить подачу воздуха, включить автономный фонарик — на

ночном видении долго не протянешь, аккумуляторы не резиновые. Порядок. Дирк вздохнул, открыл шлюз лифта и шагнул вперед. Лифт сразу же двинулся вверх, словно отрезая его от остального мира.

Он шагал по огромному залу, колонны, подпиравшие свод, терялись во тьме, а центральная по толщине могла сравниться с небоскребом. На полу мерцали озера замерзшей воды вперемежку с охладителем и прочей дрянью. В конце зала будет туннель, от стен которого ветвятся более мелкие, девятый справа — А-9. Ребята говорили, что видели здесь крыс, но Дирк не верил — млекопитающим здесь не выжить, в этом он был уверен. Может быть, на верхних ярусах.

«Абсолютная уверенность — опасная штука, друг мой», — любил говорить однокурсник Дирка, Антон. Антон уже пять лет как в могиле — демон войны любит собирать обильную дань со своих создателей.

Впереди замаячили белесые струйки охлаждающей жидкости, вырывающиеся из огромных, эластичных, ребристых труб, похожих на разбухшую утробу какого-нибудь зверя. Опять барахлит система охлаждения. Но это не его проблемы. Этим займутся ребята из другого ведомства.

Дирк считал проходы машинально. Он и так помнил каждый из них. Отвлечься от мыслей о прошлом помогали книги. Дирк любил читать и думать — приятная привычка, оставшаяся от прошлой жизни. А думать он умел. Последняя прочитанная им книга называлась «Личность в пространстве и времени». Он приобрел ее по случаю, просто выбрав лучшее, что было у уличного торговца.

Первый туннель — раз.

В книге какой-то престарелый профессор выдвигал, уже не новую, впрочем, гипотезу о бесконечном количестве параллельных миров, существованию каждого из них положило начало какое-либо событие в мире — архетипе, который, по мнению ученого, существовал до начала времен, разумеется, если измерять время человеческими мерками. «Эдакая

теория большого взрыва на новый лад», — мысленно улыбнулся Дирк.

Два.

Одной из изюминок, которыми дедушка щедро напичкал свою гипотезу, было предположение, что человек постоянно перемещается между мирами, сам не замечая этого.

Три.

Миры, разумеется, рассортированы по степени похожести. То есть рядом с миром, где случилась ядерная война, не может находиться мир, где даже не изобрели атомного оружия.

Четыре.

Дедушка также полагал, что переносит человека из мира в мир ничто иное, как выбор, который он делает из множества вариантов, ежедневно предлагаемых реальностью. Люди же этого не замечают, так как миры, в которых они вращаются, в основном идентичны.

Пять.

Далее в гипотезу вступала личность. Старикан утверждал, что поскольку люди перемещаются между мирами с помощью неосознанного усилия воли, то осознанное усилие может перенести человека туда, куда ему будет угодно, ну, или вполне туда. Здесь старикан увлекался диалектикой и считал, что чем дальше личность дерзнет залезть, тем сильнее будет сопротивление, и ставил во главу угла силу воли отдельного человека.

Шесть.

Выдвигалось даже предположение, что таким образом возможен переход между мирами не только в пространстве, но и во времени. Нужно только четко выработать метод с помощью «универсальной машины познания», как старик окрестил в своем труде человеческий разум и сознание.

Семь.

Метод же заключался ни много ни мало в том, что личность должна представить себе нужный мир и поверить в возможность пространственно-временного перехода.

Восемь.

Дедушка даже выдвигал предположение, что если такого мира не существует, то он может быть создан усилием воли. Правда, шкалу, по ко-

торой нужно измерять пресловутое усилие, ученый не выдумал. Также он считал, что на Земле существуют места, где переход дается легче, чем в других, называя их «полями входа».

«Прямо гремучая смесь Железны и теории информации Винера», — усмехнулся Дирк. — Что он там еще писал? Ах да, лучше проделывать перемещение вдаль от волеизъявлений других людей и находясь в духовном и эмоциональном спокойствии. Ну вот, у меня духовного и эмоционального спокойствия хоть отбавляй, а людей вокруг точно нет километров на пять вверх и примерно настолько же вокруг», — Дирк рассмеялся и представил себе мир, который был у него до того, как он потерял руки и получил вместо них киберпротезы. Он даже зажмурился, все равно никто не видит — можно и покривляться. Так он и прошагал оставшиеся несколько метров до нужного туннеля. Благо знал дорогу наизусть.

Девять.

Дирк открыл глаза. Перед ним была глухая стена. По инерции он тупо попер на нее и стукнулся шлемом. «Заблудился? Невозможно». Дирк немного постоял, разглядывая стену при свете фонарика, на ней, казалось, выступили маленькие сверкающие прожилки. «Странно, что я раньше этого не замечал, надо будет наколупать немного и попросить ребят из химотдела посмотреть, что это. Но сначала работа, придется вернуться, видимо, прошел мимо». Включив ночное видение, от которого было больше пользы, чем от фонарика, и прошагав метров десять в обратном направлении, он увидел темное пятно туннеля. Ну вот. Когда он подошел к проему на расстояние нескольких метров, маска услужливо высветила: «А-8». Дирк выругался. Значит, не дошел. Маркировка следующего туннеля весело засверкала надписью «А-10», исполненной причудливой вязью. «С каких это пор они сделали флюоресцентные надписи? И что за Пикассо так разукрасил стандартные буквы?» Дирку захотелось сплюнуть. Он медленно повернул рычажок внутренней связи.

«Центральная, прием. Центральная, прием. Это полстапаятый, прием».

Молчание. Опять Мари пьет кофе на рабочем месте.

«Центральная, прием, это полстапаятый. Прием... Мари!»

В конце концов техническая служба могла забетонировать А-9, а Мари просто не в курсе. Но ведь дала же она наряд?! Могла и ошибиться, конец смены все-таки. Еще немного потоптавшись на том месте, где положено было находиться А-9, Дирк отключил ночное видение и двинулся назад. Пару раз в свете фонарика что-то мелькнуло. Значит, ребята не ввалили насчет крыс. Насекомые вряд ли вырастут до таких размеров. Что же это за тварь, которая дышит радиоактивным воздухом и жрет... что они здесь могут жрать? Не охладитель же! Наверное, друг друга. Интересно было бы взглянуть на одну из этих зверюг. Генетика и радиация здесь правят бал. Да уж. Следующее открытие заставило его остановиться. Лифта не было! Точнее, на его месте покоилась пыльная груда искореженного металла, увенчанная оборванными тросами. Дирк огляделся и зачем-то посмотрел себе под ноги. Из скафандра тонкой струйкой вытекал воздух. Драгоценный кислород! Рухлядь времен третьей мировой — скафандр, который, наверное, был его ровесником, отжил свое. По спине пробежал холодок. Дирка совершенно не волновало, куда делся лифт и почему вокруг разгорается какое-то голубоватое сияние, его волновало лишь, насколько ему хватит кислорода в этом ледяном аду. Перспектива умереть от удушья совсем не радовала. Аварийный выход. Аварийный выход в туннеле А-9. А-9! Опять подкралась мысль. Стоило ли читать так много книг? Стоило ли думать, страдать и трепыхаться, пытаясь выбить себе место под солнцем? Стоило. Почему? Неважно, подумалось ему, важна сама жизнь. «Я люблю смотреть на фиолетовое солнце сквозь заградительные экраны верхних ярусов, хотя говорят, по-настоящему оно желтое, люблю дышать воздухом, сняв респиратор. Я люблю жить, я люблю думать». «Ну и куда привели тебя твои мысли?» — ехидно спросил внутренний голос. Крыть было нечем.

*Мир через*



«Вот и все. Выходит, старик-профессор был прав», — подумал Дирк, обзревая разгорающиеся кристаллы. Но если так... Он ринулся обратно. Между туннелем А-8 и А-9 и есть эта самая точка перехода. Нужно только представить и захотеть, вот и все. Только бы хватило кислорода. Здесь! Нужно вернуться. Стоп, кислорода все равно не хватит. Сдохнуть от нехватки воздуха там так же противно, как и здесь. Нужно переместиться в новый мир. Туда, где есть кислород, ведь это возможно. Дирк представил голубое небо, которое видел на картинках в учебнике по истории. Еще он представил птиц. Затем сделал три шага вперед и... провалился в яму с водой. Секунду спустя поднял глаза. На него смотрела намалеванная красной краской надпись «А-9» и несколько десятков людей в простых скафандрах старого образца, еще более древних, чем у него. Неужели такие еще выпускают? Все люди были без масок. Значит, здесь есть воздух. Дирк сорвал с себя шлем и глубоко вздохнул. Кислородосодержащая губка его скафандра начала автоматически наполняться.

Кругом валялись груды строительного материала, стояли землеройные машины и сновали рабочие. Шла стройка. К нему пробирались какие-то люди. По лицам и погонам Дирк сразу узнал военных. Их намерения были очевидны. Он напялил шлем и шагнул вперед. Тишина и тьма. Рядом знакомая надпись. В уши ударил голос Мари.

— Полстапаятый, прием, прием, Дирк, где ты!?

— На связи, — по привычке ответил он.

— Ты пропал с мониторов три минуты назад.

— У меня небольшая утечка... Лифт завален, Мари.

— Тебя завалило? Сколько у тебя кислорода, Дирк?!

— Я в порядке, Мари.

— Береги воздух, Дирк. Держись, высылаем спасателей.

Дирк Питт рассмеялся. Теперь он знал, что ему нужно. Он также знал, что спасатели его уже не найдут.

«Прощай, Мари» — сказал он, улыбувшись, закрыл глаза и шагнул вперед.



# Страна поэзии

Елена Шаталина

Иркутское художественное училище, IV курс

## ЭТЮД

Тишина пронзила воздух.  
Свет потух.  
А потом, как дождь по розам,  
Всхлипнул звук!

Не один — за ним другие —  
Полоса.  
Словно в радуге густые  
Небеса.

Солнце жжет сердца и крыши  
И поет.  
Только мы его не слышим —  
Слух не тот.

## ТИШИНА

Не могу ни слова сказать  
И речей не слышу ничьих —  
В сердце две минуты назад  
Голос твой далекий утих.  
Вслушиваюсь только, внутри  
Сердце есть ли? Сердце стучит.  
Я прошу тебя, говори!  
Все вокруг томится, молчит  
И тебе не хочет мешать,  
В сон тишиною клоня,  
Мне вдруг стало пусто дышать,  
Будто нет души у меня.  
И сижу в глухой тишине,  
Впитывая сладкий эфир.  
Может, ты вернешься ко мне  
И меня вернешь в этот мир?

\* \* \*

Этой осенью журавлиною  
На взлохматившем небо ветру  
Я стою промокшей осиною,  
Провожая седеющий круг.

Дождь. Рябит от рябины рощица.  
Дрожь — жестокий озноб сентября.



Ключья туч тяжелые просятся  
На прощанье обнять меня.

Тают тихие птичьи стоны,  
Словно трепет увядшей травы.  
И редуют беспомощно кроны,  
Рассыпая гроздья листвы.

\* \* \*

Что-то есть торопливо-вечное  
В проплывающем мимо облаке,  
Слишком много закономерного  
В наступившей в апреле весне.  
Ночью — утра жду, утром — вечера,  
А в твоём самом вечном облике  
Появляется столько неверного,  
Что тоскливо становится мне.

\* \* \*

Ступлю легко на снег последний.  
Ручьев журчащую игру  
Минуя, день пройдет бесследно.  
И ночь, спешащая к утру,  
Припорошит асфальт намокший...  
Наутро вновь звенеть ручьям,  
А сердцу таять, чтобы больше  
Не оставалось снега там.

## К ОСЕНИ

Как ты могла? Ты скинула одежды.  
Истошным криком ты своим зовешь куда?  
Зачем мне подкосила ноги? Где надежды?  
Что мне теперь твоя небесная вода? —  
Глаза еще не высушило время...  
И для кого ты падаешь, шурша,  
Мне все равно. Мне некуда со всеми —  
Отдельно я. Пуста моя душа,  
Куда-то мое сердце провалилось  
И тлеет медленно, и никого там нет...  
Сегодня снова ничего не снилось —  
Прожег жестоко каменный рассвет.  
О Господи, прости. Неоднократно  
Уныние, за горло взяв меня,  
Трясло и вытрясало все обратно,  
Что накопилось за три — за два дня.  
Но я же возвращалась в это русло,  
Туда, где небо снова в облаках!

Сейчас — немного более чем грустно,  
Ничуть не радостней, чем в розовых очках.  
Куда-то все уходит, это что же?  
Быть может это время или ты.  
Тот, без которого и смысла быть не может —  
Осколок маленький большой моей мечты.

\* \* \*

Ты был нужен мне, ты был дорог  
И казался таким родным...  
Писем желтых осенний ворох  
Кружит в паре с сомнением моим.

Твоего огня я не помню,  
Только бросить бы ворох — в мой.  
Да, горели б и снежные комья,  
Если б ты оставался со мной.

Все бросаю взгляды вдогонку,  
Но лишь вижу сентябрь, где,  
Позабыв про смешную девчонку,  
Ты уходишь по темной воде.

\* \* \*

Разлили по чашкам усталость  
И выпили все до дна.  
Осталась самая малость —  
На дне лишь капля одна.

Рассвет уж окрасил небо.  
Украсил жизнь мою ты,  
Хотя никогда здесь не был.  
...Мне хочется темноты.

Еще тишины хочется  
И эту каплю допить.  
Пророчество за пророчеством  
В той чаше усталой топить.

\* \* \*

Люди, как звезды,  
Звезды, как слезы,  
Слезы от счастья,  
Счастье, как ты.  
Ты, как ненастье,  
Смех, как серьезность,  
Кисти, как гроздь,  
Беды — листья.

Руки простерлись,  
Солнце встречая,  
Не назначая  
Пламенных встреч,  
Не увядая,  
Не покидая  
Самых любимых  
Каменных плеч.

\* \* \*

Отчего сошелся клином белый свет?  
Журавлей так нежно выкрасил рассвет.  
Капельки-дождевики — огоньки у глаз.  
В мире не один ты! В мире двое нас.

Как идет невеста белая к венцу,  
Шел веночек осенний к моему лицу.  
Скоро вспомнят ветры, как зима бела,  
А пока что осень милая пришла.

И в венке из листьев я так хороша,  
Будто осень — это вся моя душа.  
Рыжая, в рябине, в сказочном бреду —  
Это я, как осень, по земле иду.

Может быть, такую я была всегда?  
На щеках краснеют гроздьки от стыда.  
Осень нарядила в платье из листвы,  
Чтобы ты заметил, чтобы понял ты...

## ПО ПУТИ С ДОЖДЕМ

Охрипший от холода ливень  
Разбился о мокрый асфальт.  
Легко, серовато-наивен,  
На тенор сменил нежный альт.  
Прозрачно забегали листья  
Среди опустевших дорог.  
От собственных страхов  
По жизни  
Уставши, опять одиноки.

Стоишь — человек, да и только —  
Стеной отражаясь в окне.  
И не интересно нисколько,  
Когда я счастлива вполне.

Когда я, глаза распахнувши,  
Узрела приветливый мир,  
А дождь искупал мою душу  
В безжизненных окнах квартир.

И зонтики редких прохожих  
Мою разгадали печаль,  
И в лицах немного похожих  
Я видела влажную даль.  
Я слышала шепот в чечетке  
Дождинок. Одна за другой  
Они вдоль железной решетки  
Бежали за мною домой.

## БЕССЕРДЕЧНАЯ

Еще снега кружили редко.  
Зима была. Была бела.  
И мое сердце, как монетку,  
Подбрасывала и ждала.  
А сердце вниз тогда катилось,  
И вдруг, повиснув над зимой,  
Оно ко мне не возвратилось...  
Зима смеется надо мной.  
«Его осколки слишком часто  
Мне попадались тут и там.  
Ты раздавать совсем напрасно  
Привыкла сердце по частям!»  
Зима мудра, что спорить с нею?..  
Так бессердечно год прошел...  
Но все спросить себя не смею,  
Возможно, ты его нашел?  
Но ты был тих и так спокоен,  
Что мне лишь видеть довелось,  
Как над далеким снежным полем  
Твое дыхание взвилось.

### Алена Ангараева

*п. Усть-Ордынский, шк. № 2, 11 класс*

\* \* \*

Дух силен, плоть слаба — истина.  
Любовь красива, мечта прекрасна — истина.  
Жизнь коротка, вечность далека — истина.  
Ты не мой, я не твоя — истина.  
Но для чего дана эта истина?

\* \* \*

Мастером будет лишь тот,  
Кто мыслит не так, как другие.  
Кто чувствует, не говорит,  
А пишет пером на бумаге.

**Елена Майорова**

*п. Чеботарикино, учащаяся 8 класса*

**ЧЕЧЕНСКИЙ МАЛЬЧИК**

Не отмахнуться, не забыть про это,  
Когда в наш теплый и уютный быт  
Чеченский мальчик смотрит из газеты,  
И черной птицей смерть над ним летит.  
Чеченский мальчик смотрит из газеты,  
И черной птицей смерть над ним летит.

Мы рядом, мальчик, на одной планете.  
Постой, я кровь твою с лица сотру.  
Ведь первыми всегда вступают дети  
Во взрослую и страшную игру.  
Ведь первыми всегда вступают дети  
Во взрослую и страшную игру.

Весь дымный мир застыл в глазах недетских,  
Которые ответа ждут от нас.  
И никуда от них уже не деться,  
От этих чистых беспощадных глаз.  
И никуда от них уже не деться,  
От этих чистых беспощадных глаз.

В кого сегодня выстрелы ни метят,  
Кому бы вновь под пулями ни лечь.  
Но первыми за все заплатят дети!  
И мы должны их детство уберечь!  
Но первыми за все заплатят дети!  
И мы должны их детство уберечь!

**Инна Юрченко**

*Куйтунская средняя школа № 1, 8 класс*

**УБЕЖАЛО ЛЕТО**

Шепчутся деревья на ветру,  
Солнце уже клонится к закату.  
Убежало лето поутру  
И наверно, далеко куда-то.

Целый день везде его ищу.  
Только вот не видно его все же!  
Где ты, лето, все тебе прощу!  
Кто же мне найти тебя поможет?

Замерли природа и дома,  
Ждут, когда вот-вот наступит осень,  
А за нею белая зима,  
Где ты? Возвращайся, лето! Просим!

Шепчутся деревья на ветру,  
Спряталось за горизонтом солнце.  
Убежало лето поутру  
И как будто больше не вернется.

## ЛИСТЬЯ

Опавшие листья шуршат под ногами.  
Пестрым ковром по земле расстилаются.  
Люди, спеша, их пинают ногами,  
А листья, от ветра кружась, разлетаются.  
Когда-то семьей они дружно жили,  
Росли на деревьях, шептались с ветром,  
Но холод и снег их вдруг закружили,  
Летают теперь, мотаясь по свету.  
А люди идут себе и не знают.  
Да если и скажешь, кто станет слушать.  
Не просто на листья они наступают —  
Они наступают на души.

## Ольга Говорина

*ИГУ, филологический факультет, II курс*

## МЫ

Мы забыли себя. Мы не помним, куда мы бредем.  
Мы забыли холодную чистую воду на вкус.  
Кто-то черный и вечный сидит за высоким столом  
И следит, не спуская улыбки с изломанных уст.

На закате мы падаем в пыль горячее огня  
И от яви бредовой уходим в мучительный сон.  
Только ноги, натертые за день, горят и болят.  
Только слышно: во мраке шуршит по песку скорпион.

Третья тысяча лет подкатила под горло ремнем;  
Давит спину, и плечи, и тянет склониться к земле.  
Мы забыли себя. Мы не помним, куда мы бредем,  
Лишь зеленые бьются круги в наплывающей мгле.





## Наталья Довнич

Родилась в г. Новосибирске. Окончила художественную школу № 1 г. Ангарска. В 1994 г. поступила в Иркутское художественное училище (с 1998 по 1999 г. являлась стипендиатом Министерства культуры). В 1999 г. окончила живописно-педагогическое отделение под руководством В. А. Кузьмина.

Участвовала в выставках, проходивших в художественном училище (Союзе писателей, художественном музее, музее Роголя, в г. Ангарске).

В данное время является студенткой ИрГТУ, монументально-декоративного отделения.

Работы находятся в частных коллекциях России, Монголии, Германии.

## ЧУВСТВО РОДИНЫ

Заснеженные купола, свежий морозный воздух, голубая лазурь зимы...

А вот знакомая улица Иркутска, вдали слышен перелив колокольного звона, мягкими теплыми красками окрашен догорающий осенний день...

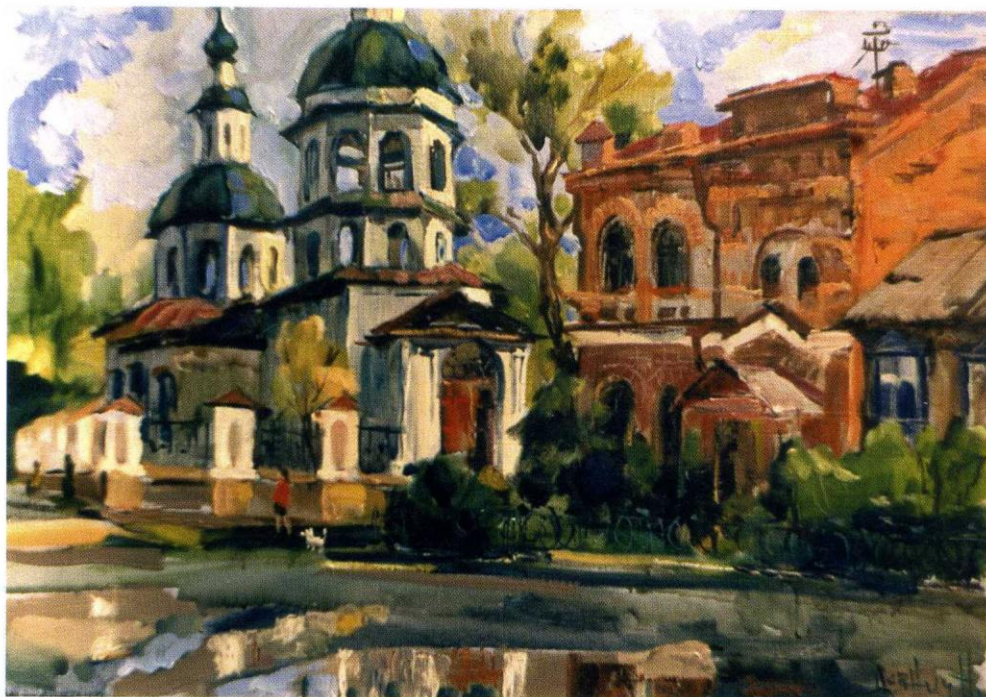
Такими предстают исполненные тонкого лиризма и какой-то особой нежности картины молодой иркутской художницы Натальи Довнич.

Ее излюбленные сюжеты — лирические пейзажи, сибирские деревеньки, улицы родного Иркутска. Многие свои работы она пишет в жанре натюрморта. «Ночной натюрморт», «Натюрморт с гранатами», «Клубника».

«Клубника» привлекает к себе в первую очередь ритмичной цветовой гаммой, выверенностью композиции. Поднос со свежей ягодой уравнивается прозрачной вазой с только что собранным букетом ромашек. Все это проникнуто трепетом белых лепестков, сладким запахом клубники, свежестью лета. Так цвет, линия, композиция создают неповторимый законченный образ.

В картинах Довнич линия и цвет имеют равноценную значимость, ведь художница много пишет в академическом стиле. Однако это не мешает ей создавать яркие, запоминающиеся работы, выполненные в манере интерьерной графики.

Прикоснувшись к творчеству этой талантливой художницы, хотелось бы отметить то щемящее чувство причастности к своей земле, возникающее при взгляде на ее картины, на эти увязшие в сугробы деревенские домики, на синие снега, на золотые купола...



Наталья Довнич. «Иркутск», 2001 г., х.м. 60x80



Наталья Довнич. «Тальцы», 2000 г., х.м. 65x50





Наталья Довнич. «Тальцы», 1999 г., х.м. 30x40



Наталья Довнич. «Клубника», 2001 г., х.м. 60,5x81,5

## НА УЛИЦЕ ПОЛЯРНОЙ

Рассказ

### 1

На кактусе появилась «детка». Говорят, кактус — некрасивый цветок. Но он похож на меня. Мне нравятся его колючки, его неприхотливость и выносливость. К сожалению, я не кактус. Я не могу почковаться. А жаль.

Гордость не позволяла мне рыдать над собственной судьбой, а выплакаться было необходимо. Не хватало только разреветься в гостях у Мамонтова. Я вспомнила стихи Есенина про собаку, у которой утопили щенков — да вы их, наверное, знаете, — а потом еще стихи Водсворта про девочку, у которой умерли брат и сестра, а она все не может поверить.

Малютка Дженни день и ночь  
Томилась, больна,  
Но Бог ей не забыл помочь,  
И спряталась она.

А только дождались зимой  
Коньков мы и саней,  
Ушел и Джон, братишка мой,  
И лег он рядом с ней.

Дело было сделано. Слезы потекли, как от лука. Черт его знает, что меня так давило. Положение двадцатипятилетней девственницы? Но у нас в семье вообще было принято оставаться девами вплоть до получения диплома. Кто виноват, что я выбрала медицину, где надо учиться семь лет. Мать в принципе не могла понять, как это можно самой хотеть мужчину. Она завела меня в тридцать два года, бабушка ее — в тридцать четыре, после возвращения

из своей знаменитой экспедиции за Полярный круг. Торопиться нам некуда — в нашем роду все жили долго, вот только бабушка, Анна Николаевна Кузнецова, едва переступила за семьдесят. Ей стали рвать зуб, она даже успела заметить, что щипцы грязные, но постеснялась сказать и умерла от сепсиса. Мать постоянно меня грызет, что я не такая. Пусть спасибо скажет, что я живая.

Говорят, отец был из короткоживущих. Он умер от инфаркта, я так и не успела с ним познакомиться.

Вообще я мать не осуждаю. Перед ней стоял выбор — или воспитывать ребенка, или пожизненно угождать мужику. Говорят, где-то на Востоке, не так далеко от нас, есть народ, где мужчина превышает все. Стоит владыке приказать — женщина сует ребенку опиумную соску и мчит на зов. Ни я, ни мать не способны на такое геройство. Потому, наверное, и остались одни.

Может быть, меня угнетало чувство вины перед Жениными погодками? Шурик и Дашка... Пока что я приносила им шоколадки. Дети доверчиво спрашивали.

— А вам папу или маму?..

— Лучше папу, — отвечала я.

У нас с Евгением было два общих увлечения: фантастика и медицина на стыке с психологией. Маше — законной супруге — и то и другое было глубоко фиолетово. Когда мы с Женей за полночь спорили о Стругацких, о Бруно Беттельгейме, Маша демон-



стративно зевала, показывая кошачий розовый язычок, и уходила спать. Дети в трусах и в майках еще долго норовили просочиться в комнату. Особенно Шурик.

— А я анекдот смешной знаю... — и начинал, путаясь и сбиваясь, рассказывать. Женя терпеливо слушал до конца и вел сына спать. Потом одевался, провожал меня и возвращался — я видела — в расстроенных чувствах. Так длилось уже два месяца.

В одной фантастике, названия не помню, люди бродили по лабиринту, искали друг друга, без конца натыкаясь на грубо сработанные подделки. В конце концов главный герой все же нашел любимую. Вот и я нашла своего. Что с того, что он занят? Маша не узнает. А узнает — переживет. Маша — сильная личность. На вид, кстати, ничуть не лучше меня. Невысокая, худенькая. Очки, веснушки, стрижка под мальчика, пацанские повадки. Даже не верится, что мать двух детей.

Машу-то не особо жалко. Но при виде погодков совесть загодя клешнила мое сердце. Все оправдания скользкими кочками уходили из-под ног, и я животом чуяла — трясина засасывает. Не для Жени это — бегать с непромокаемой мордой на две семьи. Сорвется, начнет психовать. Маша-то выдюжит. А Шурик?.. А Дашка?..

О-ох, тяжело мне... А тут еще сослуживцы изволят в душу плевать.

При мысли о сослуживцах слезки на колесках мгновенно высохли. Спасительная ярость хлынула в душу.

Я, конечно, знала, что медики — циники. Для белохалатной породы человек есть животное, которое должно вовремя родиться, вовремя произвести на свет потомство и в срок помереть. Но мои дорогие коллеги всех за флагом оставили. Впрочем... Начну с начала.

В наше отделение поступила девочка двенадцати лет. Тома, Тамара. Училась она в четвертом классе вспомогательной школы, постоянно прогуливала уроки и ночевала по солдатским казармам.

Первый раз я увидела Томку в столовке. Русо-вихрастая, солнечно-конопатая, школьница жадно ссутулилась над железной плошкой. Горбилась дев-

ка случайно, от несытости, торопливости — еще бы! в желудке революции шли! — но острый крючок сострадания успел-таки закогтить мое сердце. Я-то с малолетства ссутулилась. И теперь немного есть — когда устаю.

Сострадание — это, конечно, здорово. Но лечить тоже было надо. В разговоре со мной Томка хихикала, пересказывала кино — индийское и порнушное, но стоило мне заговорить о школе или родителях — и Томка устраивала концерт. С криком «А-а!» или «Ы-ы!» девчонка брякалась на пол. Голова, ударяясь о немецкий паркет, издавала почти бильярдный стук. Острые подростковые коленки вставали углом, к ним, дрожа, подтягивалось все тело. Мелкая дрожь сменялась крупной. Нежное тело с едва намеченной грудью билось об пол. Я не могла дождаться конца — звала санитаров.

Скорее всего, у Томки была истерия, а судороги на эпилептический манер девица просто обезьянничала. Но я, как русский интеллигент, не отличалась уверенностью в себе. Мне нужен был совет опытного психиатра.

На дорогих коллег рассчитывать было нечего.

Когда Томка поступила, зав. отделением Юрий Желток, тридцатилетний пижон с каштановой бородкой, загорелся и, масляно поблескивая шоколадно-карими глазами, стал пересказывать роман Набокова «Лолита». По его словам выходило, что «в нормальных странах» дети давно живут, и только у нас, стоит малолетке познать мужчину, ее хватают за шкурку и тащат в стационар.

Наверное, все это говорилось с невинной целью покрасоваться. Но меня повело. Я заявила, что сейчас позову главврача. Пусть-ка Юрочка повторит свои соображения при Любви Георгиевне.

Наши дамы перестали нервно хихикать и воззрились на меня, как на инфузорию-туфельку. Сказать такое... мужчине?!.. Господину и повелителю?!.. Да в какой конюшне я воспитывалась? Что меня ждет? С таким характером я ведь и умру девицей.

Юра понял, что дамы на его стороне, и снова загарцевал.

— Ты так рассуждаешь, потому что не знаешь, о чем говоришь, — провозгласил он с видом жреца. — Твоя Томка, даром что дебилка, понимает, в чем смысл женской жизни. А ты... Запомни, Андропова, пока ты не познаешь мужчину, ты не вылечишь ни-ко-го!.. А ждать тебе, похоже, придется долго!..

Дамы заржали так, что, казалось, вот-вот посыплется штукатурка. Тряслась под белым халатиком подростковая грудь Людмилы. Подпрыгивала на стульчике костлявая Ольга Матвеевна.

...Я уже знала, что проработаю в этом змеинце не больше года. Но Томку нужно было лечить. И я решила обратиться к Мамонтову.

Алексей Петрович преподавал у нас психопатологию и частную психиатрию. Глубокий старик, одноногий калека, профессор все лекции читал стоя, опираясь одной рукой на кафедру, другой на костыль. Болтали, что ногу он потерял в войну, подорвавшись на mine. Еще трепались, что воевал он в штрафбате. А угодил в штрафбат потому, что, будучи рядовым, поднял руку на офицера. Недавно человек-легенда ушел на пенсию — мучили нещадные фантомные боли.

Мамонтов коротал век один. Жена его скончалась, единственный сын попал под машину.

Моему звонку Алексей Петрович обрадовался. Похоже, он крепко истосковался по людям.

Я поглядела на часы. Пять. Ну вот. Можно было прибраться в комнате, хотя бы на письменном столе, а я два часа любовалась на кактус.

Я умылась холодной водой и пошла собираться.

## 2

И вот я зябла на остановке. На землю медленно и торжественно опускался мелкий снежок. День катился к вечеру. Исподтишка подкрадывался голод.

Подкатил автобус. Внутри горел тусклый свет. Сесть не удалось. Я устроилась на задней площадке, оперлась о поручень и стала смотреть в окно. Автобус прогрохотал по Ангарскому мосту и свернул направо.

Потянулось неведомое предместье.

Частные домики, огороды, продуваемые со всех сторон хрупкие навесы стоянок. На той стороне Ангары далеким золотым островком сияли огни Топкинского.

Я скверно знала разбойное предместье Жилкино и оттого вышла на две остановки раньше. Здесь начиналась улица Полярная. В блокноте значилось — Полярная, 80. На здешних же домишках висели старые, прикрытые козырьком номера — два, четыре, шесть. Пока я размышляла, прыгать обратно или пилить на одиннадцатом номере, автобус ушел. Другой «шестерки» не предвиделось. Мороз крепчал, а с ним крепчали голод и злость. Размашистым шагом я двинулась к цели.

Когда я злюсь, походка у меня некрасивая, но меня это не колышет. Голод всегда рождает злобу. Неприятности тоже. И лучше уж иметь резкие, угловатые движения, чем кидаться на людей почем зря. Конечно, лучше ни того ни другого... Но идеальные люди только в книжках встречаются.

Опять же, некрасивая походка, сутулость и поношенное пальто сослужили мне добрую службу. Подростки, что попадались навстречу, смачно плевались при виде меня, но напасть не напали.

Хотя, честно скажу, мне уже все фиолетово. Не все ли равно, каким путем я стану женщиной? Чужой муж или случайный насильник...

Впрочем, это сейчас я придуриваюсь. Тогда-то я сжимала в кармане, как верный стилет, отмычку от подъезда и двигалась дальше. Отмычка в руке меня успокаивала. Внутри головы, выражаясь словами Голдинга, просыпался предок, эдакий идеальный мужчина во вкусе Марии Семенович — воин, готовый в любую минуту оборонить слабую женщину, мечтающий передумать к лучшему миру, и в то же время, как ни странно, мыслитель.

О, как бы я хотела, чтобы подобный мужчина оказался рядом со мной!.. Именно здесь, сейчас, на темной заснеженной улице!.. Чтобы он поддержал меня, утешил, внес ясность во все вопросы, в которых я так безнадежно запуталась.

— Храни меня, предок, — одними



губами шептала я, продвигаясь к цели. Как ни странно, мольба помогла. Мало-помалу я успокоилась. Незнакомый район показался даже уютным. Внутри золотых окошек подмигивали лиловые и розовые фиалки, тянулась вверх непотопляемая герань. На одном подоконнике стояла старинная лампа матового стекла с картинками по абажуру.

Мало-помалу стали попадаться горящие фонари. Сделалось возможным разобрать надписи на заборах.

«Петр Первый — лох!»

«Россия, я тебя люблю. Рома».

Мимо меня, приглашающе тормозя, проползла маршрутка с надписью «Василиса энд Томсон», но я не села. Я была уже близка к цели.

Впереди вырос красно-кирпичный замок. Витой металлический узор (наполовину, впрочем, распрямленный местными силачами) украшал полукруглый навес над истертым деревянным крыльцом. Тускло брезжили высокие прямоугольные окна. Вокруг здания высились крепкие метровые столбики, каждый о шести гранях, о трех покатых контрфорсах. Каждый столбик венчался неровным шаром размером с пушечное ядро. Столбы соединялись могучими цепями вроде якорных. Каждое богатырское, с два моих кулака, звено имело посередине мощную перемычку.

Мало-помалу дореволюционный странноприимный двор — ныне жилой дом с двумя частными лавочками в подвале — дряхлел, разрушался. А жаль.

На сей раз мне припомнилась сказка — «Путешествие Нильса с дикими гусями». Я спустилась в лавочку. Здесь, как в сказочном городе, поднявшемся из моря на один ночной час, не было ни единого покупателя. А цены — я не поверила своим глазам — куда как ниже обычного!..

Над прилавком висел плакат. «Хлеб издревле величали продуктом номер один». Бросались в глаза этикетки на бутылках — «Арабелла боярская».

Но в целом впечатление было сказочное. Продавщица, пригнувшись над grossбухом, что-то считала. Видна была только ее наколка, белоснежная, как крылья бабочки-капустницы.

Я взяла коробку конфет с изображением Крестовоздвиженской церкви и, не удержавшись, купила изящную селедочницу с искусно выдавленным раком. Или — доисторическим скорпиончиком?.. Застыл, бедняга, в прозрачной смоле, в золотом янтаре...

Улыбаясь, я выбралась наверх. Перешла дорогу.

Освещенная белая пятиэтажка высилась среди приземистых каменок, как маяк. Я поднялась на второй этаж и нажала кнопку.

### 3

— Кто? — послышался хриплый суровый голос.

— Галя Андропова... Ваша студентка... Помните, я вам звонила?..

Дверь распахнулась. За время, что мы не виделись, Мамонтов почти не изменился. Он вообще мало походил на старика, хотя годы его, по слухам, перевалили за семьдесят. Светлый шатен, Алексей Петрович все никак не седел. Стригся коротко, бороду брил. Лишь глубокие редкие морщины да набухшие мешки под глазами изобличали возраст. Даже увечье, казалось, его не портило, хотя ногу отняли гораздо выше колена. Впрочем, может быть, я просто привыкла.

— Прошу на кухню, — произнес Алексей Петрович. — Я — в кладовку, за снедью.

Я попыталась воспротивиться, но хозяин, стуча костылем, скрылся в подсобке, откуда знакомо пахло вековой пылью. Вообще, многие интеллигентные люди, у которых мне приходилось бывать, не отличались любовью к порядку. Будь Алексей Петрович моложе.. эдак в три раза... пожалуй, я бы его устроила.

Появился Мамонтов, свободной от костыля рукой обнимая пыльную банку. В трехлитровом аквариуме среди водорослей укропа крепкими пупырчатыми бурыми крокодильчиками плавали соленые огурцы.

Я, очнувшись, изъяла сокровище и не очень умело, но без излишней суетливости завозилась на кухне. Из холодильника явилась масляно-желтая картошка, перламутровошекая,

по Бунину, селедка, обрамленная толстыми кольцами лука, а также вареная рыба под морковным коралловым маринадом.

Хлопоча по кухне, я несвязно и робко, мучаясь профессиональной несостоятельностью, выкладывала про Томку. Доктор, однако, уловил с полуслова.

— «Москвич» мой в ремонте, — протянул старик. — В четверг починят. Со звонимся, заеду, посмотрю. Ох, бездна, чертова прорва... Детей уже засасывает... Нечего сказать, хорошее времечко досталось вашему поколению!..

К тому времени я обнаружила, что сижу на трехногой беленькой табуретке. Держать спину без опоры было трудно. Мамонтов тоже горбился, чем походил на старого, потрепанного ветрами орла. Я плюнула на комплексы и перестала следить за осанкой.

Может быть, с этой общей сутулости, со сходства, невольно отмеченного подсознательным «я» обоих, и начался тот самый разговор. Честно говоря, мне всегда хотелось расспросить Алексея Петровича о его таинственной жизни. Но я боялась к нему приблизиться. И вот... мы сидели за одним столом, и он наливал мне водку!..

Это было настолько нереально, что я забыла, где я, что со мной, зачем я. Водка сделала меня дерзкой, и я спросила:

— А разве вашему поколению досталось хорошее время? Вот сейчас в журналах пишут: война, Сталин, ГУЛАГ..

— Да, пожалуй, ты права, — заметил Мамонтов. Он казался сосредоточенным. — Всякий тиран волей-неволей тащит на хвосте смутное время. Что Иван Васильич, что Иосиф Виссарионыч... Мне повезло... как утопленнику... Я застал обе стадии.

— А... расскажите о себе! — попросила, обнаглев, я. — Или... слишком уж больно?

Врач помотал головой. Похоже, он, как многие одинокие старики, любил побеседовать о былом.

— О чем говорить-то... Не успел закончить институт, как попал на фронт. Лечил. Воевал. За спины людей не прятался. И на тебе — ранение

в живот. Отправили в госпиталь, в тыл. Выздоровливающих гоняли в колхоз. Помощь фронту.

Я не слышала слов. Я забыла, что вокруг — неухоженная холостяцкая кухонька. Я будто смотрела черно-белый фильм военных времен, в котором нет-нет да проскальзывал цветной кадр.

— Представь себе — сентябрь. Край поля. У горизонта — черные терема сосен. Мальчик колоски собирает.

— За это же тогда сажали! — вмешалась я.

— Вот именно. Расхищение социалистической собственности. И мне приспичило сунуть нос. Подхожу — эдакий Гулливер в рубашке навывпуск и в брюках от гражданского костюма — и давай поучать. Дескать, не тебя, так родных посадят. Я бы, конечно, не выдал парня, — донесся из дальней дали голос врача. — Попугать хотел. Но родные мальчика, недолго думая, настрочили донос.

— Вы анекдоты про Сталина рассказывали?..

— Хуже!.. С немцами общался на их родном языке!..

— С немцами?! — поперхнулась я водкой.

— Да с нашими, советскими, из трудового лагеря!.. Кто там был... престарелый бухгалтер, парнишка лет пятнадцати, пожилая мать с дочерью. Очень опасные люди, что ты.

Все чурались немцев, а я общался. Почему? Да по тысяче причин!.. Во-первых, любопытно, все-таки совершенно другой народ. Во-вторых, языковая практика. Надо же время от времени в иностранные журналы заглядывать. В-третьих, советовался насчет агротехники. Они — колонисты, разбираются, а я — горожанин, дитя асфальта. В-четвертых... да поддержать хотел, черт возьми!..

Ну и готово!.. Статья 58-6 ПШ — подозрение в шпионаже. Десять лет без права переписки.

...И снова я, Галя Андропова, ушла в свои думы. Есть вещи, при мысли о которых наш разум пасует, словно упирается в стену. Очень интересно, до боли жутко — что же там, за стеной?.. Такой темой для меня были лагеря — немец-

Мир прозы

кие и советские. Теперь же... Алексей Петрович повествовал, и я убеждалась — за стеной тоже жизнь.

— Реку Индигирку знаешь? Шестидесят седьмой градус северной широты.

— Это тайга или уже тундра? — осведомилась я.

— Тайга. Лиственницы, иногда сосны. Где живые, где шелкопряд поел. Якутские поселки, олени...

— Вы на лесоповале работали?

Мамонтов усмехнулся.

— Позволишь встречный вопрос?

— Давайте.

— Ты вообще представляешь себе, что такое лагерь?..

— По книжкам.

— Хороший ответ.. А если бы ты попала туда, что бы ты стала делать? Постаралась бы выплыть или бы махнула на все рукой?..

Пришла моя очередь усмехнуться. Мысли мои были циничны, но ведь этот разговор — под водку, на кухне — требовал полной открытости.

— Вероятно... искала бы покровителя.

— Мы с тобой одной крови, — сказал Мамонтов, даже не улыбнувшись. — Я тоже рассудил, что моя задача — лечить. Может быть, по большому счету, я предавал лесорубов. Отнимал пайку. Но я вытаскивал их с того света. А что бы лечить — операции делать — надо быть сытым. Как ты полагаешь — это не самообман?..

Спустя полвека старик спрашивал моего мнения. Просил домашнюю девочку отпустить грех. И я не могла отвечать иначе, хотя, наверное, это тоже было цинизмом.

— Нет, что вы. Конечно, есть надо. А то бы вы просто сгинули.

Мамонтов казался довольным.

— Мне удалось себя поставить, — продолжал он. — Хотя, конечно, бывали случаи... Алексей Петрович заметно пьянел. Рассказ его уходил в сторону, становился путаным.

— Представь себе сарайчик... Два на четыре метра. Медпункт. Окошко из осколков стекла, скрепленных окаменевшей на морозе замазкой. В углу, черным-черна — закопченная печь-буржуйка на гнутых ножках. Фонарь «летучая мышь» под потол-

ком. Простыни, как шторы, по стенам. Грубо сколоченный стол, табуретки, в углу — занавеска. Это заместо ширмы. Широленные полки-нары.

На верхней полке я держал пару книг, медикаменты и микроскоп — американский подарок. На нижней-то я спал сам — прямо в белом халате поверх телюги.

— Белый халат? Микроскоп?! — оторопела я.

— Ну, белый — сильно сказано, — усмехнулся Мамонтов. — Весь в желтых пятнах — от йода, наверное. А микроскоп начальник лагеря выменял. На живых людей, между прочим. Было у него там подобие крепостного театра...

Старику не терпелось продолжить рассказ. Но взгляд мой зацепился за стрелки настенных часов, дрожащих, как усики исполинского насекомого. Девять!..

#### 4

Автобусы уже не ходили. Я пыталась связаться с домом, однако номер был занят. Напуганная мать обзванивала подружек. Я вздохнула, мысленно перекрестилась и набрала номер Жени.

— Алло? — послышался звонкий женский голос.

Маша. Вот незадача!.. Попросить Евгения неудобно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!..

— Это я, Галя, звоню из Жилкино, — залепетала я в трубку. — Не могу попасть в центр. Ты меня слышишь?..

Маша оказалась человеком. Не просто, а с большой буквы.

— Откуда звонишь? Из автомата?

— Нет, я у Мамонтова. Женя о нем наслышан. Может, твой муж за мной съездит, а? Я отдам деньги за бензин!..

— Какие деньги, не болтай! — в голосе законной жены мешались раздражение и сочувствие. — Передаю трубку.

Некоторое время слышалось шуршание, потрескивание и далекие отголоски.

— Галя, привет. Диктуй адрес.

Я не заставила себя упрашивать. И добавила.

— Знаешь еще что... Пусть Маша моей маме позвонит. А то ведь мать совсем изведется.

— Есть. Выезжаю. Жди.

И опять пошел фильм...

— Ввалились как-то социально близкие. Урки, короче. Спирт им зандобился. Как сейчас помню... Один... сам бочка бочкой, башка арбузом, оскал до ушей... Счастьем сияет. Другой... хлипкий такой прихлебатель. В очках. Из тех, кто советы дает. «По почкам его, по почкам...»

— Знаю этот тип, — кивнула я. — В принципе, все объясняется просто. Что остается хилой интеллигенции? Цинизм и жестокость... Чужими руками. Своими-то боязно...

— Х-хосподи, — выдохнул Мамонтов. — Ты-то откуда знаешь?..

— Из школы, вестимо, — вздохнула я. Да еще почему-то Юрий Желток всплыл в памяти.

— Ах да... Большая зона, — кивнул Алексей Петрович. — Конечно, идет диффузия... С каждым годом усиливается. Но вернемся к нашим баранам.

Пробую по-хорошему выставить — гиблое дело. Взял колун... Ну да сама понимаешь... нелегко это... человека топором...

— Странно, — пожалала плечами я. — По-моему, если на вас кинется тигр, вы и не вспомните, что это благородное животное. Да и... вы же воевали!..

— На фронте я не был в рукопашной, — пояснил Алексей Петрович. — А тогда, в бараке, не успел толком разозлиться. Ведь этих самых людей я не так давно штопал... чифирил с ними... До меня не доходило, что все всерьез. Думал — кино. И вот — лента оборвалась. Дали по голове. А когда я пришел в себя, спирт исчез.

— Коз-злы!.. С-сволочи!.. — с оттяжкой высказалась я. Не женственно, зато от души.

— Вообще, конечно, — согласился Мамонтов с бесстрашием фаталиста. — Только ведь... Никогда не знаешь, из-за какого угла что вывернется. Благодаря им я познакомился с удивительной женщиной. Быть может, — дрожащими руками профессор выудил из пачки беломорину, чиркнул спичкой, — это была моя единственная...

Мамонтов не договорил.

Тут моя женская суть, подобно нежной улитке, высунулась из панциря, снаружи грубого, но изнутри отделанного перламутром, и наострила любопытные рожки.

Однако рассказчик опять ушел в сторону.

— Наутро срочно пришлось ампутировать... черт... сейчас и то больно рассказывать. Был на лесоповале мальчишка-армянин. Сел за ошибку в стенгазете. Написал на неродном русском языке. «СССР — страна мира и туда». И вот — раздробило ногу упавшим деревом. Представляешь?..

Я скривилась. Слова были бессильны. Оставалось молчать.

— Я все думаю, — тихо продолжал Алексей Петрович, поглаживая культу, — то, что случилось со мной — не наказание ли это?.. И за Размика, и за других... кто был на лесоповале...

— Обморожение? Там же, в лагере? — осведомилась я, сочувственно кривясь. Grimаса горя не прибавляла красоты, но почему-то располагала ко мне людей.

— Нет, — покачал головой Алексей Петрович. — Это уже в штрафбате. Осколочное ранение, гангрена... Фельдшер-недоучка проморгал, я из гнилой интеллигентской вежливости молчал...

Как бабушка Анна, подумалось мне. Той тоже зуб рвали... Одно воспитание, одно поколение... Оба в одно и то же время оказались за Полярным кругом. Правда, бабушка, выпускница Московской медицинской академии, забралась в Якутию по собственной воле. Медико-исследовательская экспедиция. Венерология, гельминтология... Кому не нравится, может нос отвернуть. А мы, врачи, не брезгливы. Надо же было помочь народам Севера.

— Выручила меня сестричка Зина, — продолжал тем временем Алексей Петрович. — Вернулась от своего, как ты выражаешься, покровителя... от воровца Кости... и давай пересказывать последние новости.

Оказывается, в якутском поселке Алтанкыз остановилась медицинская экспедиция... да не откуда-нибудь, а



из самой белокаменной... Что с тобой, Галина?..

— Н-ничего, — заикнулась я. И нахально спросила. — А дальше?..

— Что дальше-то... Беру огрызок карандаша в обмороженную клешню и на клочке бумаги корябаю: «Коллеги, не бойтесь!», а потом излагаю ситуацию насчет спирта.

Постой... Сейчас кое-что покажу.

Мамонтов отдернул тяжелую шторку, похожую на индейское одеяло. На узком подоконнике обнаружилась фиалка в стаканчике из-под йогурта.

— Купил на толкучке, — пояснил врач. — Пересадить все руки не доходят. Обрати внимание, как обильно цветет.

Действительно, цветков — лиловых махровых звездочек — было десятка два.

— Корням тесно, — пояснил Мамонтов. — Вся жизненная сила идет в цветение. Ты никогда не замечала... Чем тяжелее жизнь, тем больше человек способен испытывать счастье?

Я кивнула. Мне не терпелось услышать продолжение рассказа.

— Командир экспедиции явилась сама!.. Не побоялась. А я... Ты Ефремова читала, «На краю Ойкумены»?..

Я с готовностью закивала.

— И как тебе?

— Здорово... Я еще задумалась, почему советского художника так увлекла тема рабства.

— Теперь понимаешь?

— Угу.

— О чем бишь я говорил... Да! Помнишь, герой, томясь в Египте, находит в развалинах статую греческой девушки? Привет с родины?

— Разумеется, помню. И вы... испытывали нечто подобное?

— Конечно, — выдохнул Мамонтов. — Умом я понимал, что она меня старше лет эдак на восемь. И красавицей она не была. Шатенка, зеленоглазая... Обычная женщина... Короче, я не знаю, как ты отнесешься... В первый же вечер все и произошло. В этом самом сарайчике. Я не знаю, что это было с ее стороны. Быть может, обычная жалость... Или душевная щедрость широкой натуры...

— Вы себя недооцениваете! — брякнула я. — Будь вы помоложе...

В ушах звенело — не то от волнения, не то от водки.

— А вы с ней похожи, — прищурился Мамонтов. — Скулы... Подбородок... Постой, как же ее звали... Вот черт, памяти нету на имена... Анна Николаевна...

«Уж не Кузнецова ли?» — предобморочно подумалось мне.

И в этот момент в передней грянул звонок.

## 5

Мой Женя не был красавцем. Простое бритое лицо. Родимое пятно на скуле. Короткая стрижка. Фабричный свитер. Мешковатые зеленые штаны. Манеры интеллигента первого поколения. Легкая сутулость — как у меня, у Томки, у Мамонтова... Чем-то он походил на артиста Мягкова.

— Знакомьтесь, — произнесла я. — Это Алексей Петрович, мой преподаватель. А это Женя, мой... друг.

Видимо, я была уже здорово подшофе, потому как дальнейшее запомнила туго. Мысли мои напоминали землетрясение на море — знаете, когда меняется рельеф дна. Уходили под воду прибабахи доморощенной феминистки о превосходстве женского пола. Господи, думала я, сколько всего прокатилось по русскому мужику. Чечня, Афган, Великая Отечественная, ГУЛАГ.. Продолжать?!..

Женщина всегда может спрятаться от общественных дел в семью и остаться собой. А мужчина погибнет или согнется. Кто процветает? Юрий Желток, курящий фимиам малолетней путанке.

Но утро придет за ночью, и весна сменит зиму. Схлынет девятый вал за океанских помоев, и обнажится земля. Потянутся к солнцу зеленые стебельки, оживут деревья, кустарники... Банально, куда денешься. Зато вечно.

Даже сейчас, во тьме, факелами, сигнальными кострами сияют Алексей Петрович и Женя. Интеллигенты. Врачи. Настоящие мужчины.

В четверг наберусь духу и спрошу прямо, думала я думу уже в машине. За окном мелькали редкие огни разбойного предместья. Что, если правда?!.. Да, бабушка Анна Николаевна разбиралась



в людях. Разглядела в узнике, в лагерной пыли собрата по духу, отца своему будущему ребенку. Не побоялась, родила от достойного. А я чем хуже? Грех? Да какой грех! Тут нацию надо возрождать...

— Вылезай, приехали.

Престарелый «Запорожец» остановился в переулке, у самой арки. Ночной город приводил на ум покинутую планету. Дома, дома... а из людей только я да Женя. Одни в мертвом мире. На Женю будто подействовал некий космический вирус. Всегда мягкий, отзывчивый, сейчас он казался ершисто-колючим. Голос звучал грубовато и нарочито небрежно.

— До подъезда не проводишь? На чай не зайдешь? — спросила я, уже гадаясь о развязке.

— Нет. Забирай свою сумку. Меня семья ждет!..

Пожав плечами, я вылезла из маши-

ны. Что ж. Решил так решил. Сцены закатывать? А на кой рожон? Кому они когда помогали, эти скандалы? А резкость... Видимо, ему тоже больно. Значит, и вправду была любовь.

Белый «Запорожец» тронулся. За треснутым стеклом блеснули горьким торжеством зеленые глаза Жени. Он пересилил себя. Не обманул доверия Маши. Я не ошиблась — Евгений Рекин воистину был настоящим мужчиной.

Сраженная внезапным открытием, я стояла у арки под фонарем, и мелкий искрящийся снег, как бы утешая, неспешно падал на мою шапку из каракуля, на воротник, на пальто...

Добро!.. Пусть мне пока не дано родить своего ребенка, но Томку я вытащу.

А чтобы поутру явиться на службу в форме, надобно хорошенько выспаться. Я глянула на часы и поспешила домой.

**Елена ШАТАЛИНА**  
Иркутское художественное  
училище, IV курс

## МИНИАТЮРЫ

### *Задумчивые следы*

Я вышел из дому рано утром, бритый и в новых брюках, но это не изменило моей старой потертой души. Настал уже тот час, когда не просто пора было идти, а пора было уже бежать на работу.

«Взрослым» я стал совсем недавно, потому и не привык к тяжелым обязанностям. Такова она — моя новая жизнь. Начал ее с понедельника, как обычно.

Уже далеко не первый снег распластался по ноябрю, и, загруженный мыслями, я упирался в сугробы. Нет, до колен все же не доставало. Это рыхлая прохлада, но немудрено было и ноги промочить.

Осторожно падала луна, кое-где фонари помогали ей освещать эту

звездную пыль. Ах, как свежо и просторно!

Я расставил руки и побежал как мальчишка. Не стеснялся я еще летать. Во мне прыгал и резвился этот ребенок, что еще совсем недавно полностью управлял мною. Я опять не смог сдержать его, и мы — полетели.

Вон из окна улыбается мне та самая девушка, в которую когда-то я был страшно влюблен. Тихие уголки ее губ немного напугали меня. Меньше всего мне тогда хотелось, чтобы этот снег растаял, даже если и от ее улыбки. Я смеялся, а сонная, зачарованная Алёнушка все смотрела на меня по-весеннему тепло и светло. И в ней дремала до сегодняшнего утра та взбалмошная девчонка, с которой еще недавно мы вместе летали... из сугроба в сугроб.

*Мир прогов...*

Я оглянулся вокруг — не заметил, как рассвело. Вот они — мои задумчивые следы... Останутся, наверное, на весь день, если новый снег выпасть не успеет... Вот так идешь, бежишь, почти летишь по жизни. А если совсем задуматься-замечтаться, то можно, пожалуй, и вправду взлететь! Но неужели тогда следов не останется?

## Тени

Утром, когда еще мало кто проснулся, но все уже начинают собираться на работу; тем самым утром, когда прохлада еще не угнетает, а покалывает, пощипывает слабый морозец. Утром они ползут особенно быстро; меняются каждую секунду, как все на земле. Они прозрачны. Сквозь них, кажется, можно просочиться, можно разглядеть целый мир, где они становятся вертикальными. У каждого должна быть своя тень. У всех разные, но лишь искаженные сущности самого предмета. И такие свои!

А моя сегодня — так иронична. Двигается женственно. Руки — длинные, а пальцы... пальцы прозрачнее всего. Свет неяркий, а потому завещает мне рассыпчатую тень. Сахарно-песочную, необыкновенно золотистую. И она становится мне другом.

Солнце дало всем по тени, легкой, неприхотливой, похожей на хозяина своего.

Тень не причинит боли, никогда не покинет, она всегда рядом, у моих ног. Она разная, как мои настроения, непривередлива, но бесхарактерна — обтекает все неровности, вливается, обходя острые углы.

Самая красивая тень — у дерева осеннего. Немного листьев и немного скорби по утраченному наряду. Немного корявости, много свесившихся веток и света, света, что проникает сквозь них. Огромный поток его вдруг неожиданно разделяется на тысячи маленьких молотых лучиков, каждый из которых удивляет и радуется.

А в дождь тени — плачут. Они текут, и в тот момент кажется, что именно от их слез мокнет асфальт. Они становятся безнадежно-фиолетовыми, ме-

стами — с серой зеленцой. Иногда от них так же рябит в глазах, как в ушах звенит от дождя. Бесконечные ливневые шлепки по лицу, губам, векам мешают говорить и видеть. Мешают даже дышать, и можно только, затаив дыхание, слушать через мокрые, липкие, ветвистые волосы. Ветвистые — как тени деревьев.

О, гармонично-поэтические тени. О, те, без коих нельзя продлить и невозможно представить собственное существование... Как без друга...

Вчера, когда я теряла очередного друга, тень моя ухмылялась ему вслед. Она у меня одна и, слава богу, я не потеряю ее никогда. Я никогда не посмотрю ей в спину. Не только потому, что у нее нет спины, а потому что я одна уже не останусь! Мое «второе я», разделяет все со мной. Порой моя тень еще грустнее меня, ниспадает кому-то на плечи, прижимается щекой к любимым и трепетно ложится на следы моих бывших друзей, но никогда не уходит вместе с ними... Все, данное свыше, не способно предать.

## Осенний лист

Часто думаю: открывается ли по черневшая крышка рояля, что стоит в чужой комнате. Только стена разделяет нас, пять шагов...

Наверное, если бы я осмелилась подойти к нему, он смог бы улыбнуться мне своею белозубою улыбкой. Сейчас он стар и расстроен, сожалеет о своей никчемной декоративной роли. Ему бы звучать в полную силу, вдохнуть воздух полной грудью или чем есть — молоточками вакуума.

Да, открыть бы крышку, а заодно и душу его. Сыграть виртуозно неумелыми руками Листа, потрянуть головою кудряво, творчески. Сыграть в память об уходящей осени. Ах, этот Лист осенний! Теперь редко кто его играет. А я бы сыграла. Живо или трепетно, со страстью или нежностью... как бы он сам того пожелал... Сыграла бы, да не умею.

Но я в эту комнату даже войти не решаюсь. Там всегда вечерний дух романтики, легкий туман, огоньки свеч и блестящих клавиш.

А у меня здесь — живопись. Правда, пока только ее оборотная сторона — бытовая, черновая. Краски, палитры, разноцветные и серые пятна — нечаянные. А в музыке, наверное, нет черновых сторон, в ней все возвышенно и чисто: от черной «бабочки» до матово-белых пальцев таланта, от белых клавиш до черных. Разве что все те же белые разбросаны листы, исписанные точками-крючками, нотами, что, как ни старайся, не станут выразительнее нот звучащих...

Выхожу на улицу. Слышу поющих птиц. Музыка кроется в гудках машин, в криках мам, зовущих ребят домой, в лае собак и стуке каблучков — все сливается для меня в божественную мелодию Вселенной. В ней не может быть дисгармонии, если нет фальши в той душе, что объединяет дыхание будней в единый шедевр природы.

А Лист? Что — Лист? Раз не умею на фоне, насвищу Листа, напою, напишу, намалюю... как умело насвистывает ветер, как мороз ночной выдает «оконные перлы и великолепия». Пусть поют эти птицы и каблучки. Пусть весь мир — поет!

А листья... подольше не осыпаются...

### *Вернуться к тебе...*

Тоска. Городское лето редко бывает ярким. Городское солнце светит ленно, городские бабочки редки... И скучно бывает в каждом следующем дне узнавать предыдущий. Только странно, именно в такие дни вдруг наступает время удивительных, красочных Снов...

Недавно побывала я на Байкале, и теперь то и дело снится мне его желто-розовая пена тот золотистый берег, что стал родным за десять дней.

Байкал... отчего такой он — будто по дну изумруды рассыпаны? Или небесный свод окунулся в него?.. Поддавись ветрам, он ни разу не отразил лица моего, а только сам отразился на нем свежей бледностью. И потому страшно вглядываться в него, как в бездну, ясноокою, манящую, вселенскими делами занятую...

Прости, не выпутаться мне из волн

твоих, глубину души твоей не измерить, очарования твоего в карманах не унести с собой на память.

Как коротки были дни, проведенные с тобой. Мне хочется бежать из этого серого города, из этой пыли босиком — к тебе! И надышаться вдоволь тобою дозволю тебе тогда, как в следующий раз возвращусь к тебе с глазами, полными слез от восторга и давней тоски.

### *Мое счастье*

Когда наступает весна, приходится из-за сумеречного прохладного неба включать настольные лампы даже днем.

Но я не включаю. Мне так нравится это небо и эти намокшие светящиеся листья!

Сквозняк по старой дружбе волеется через форточку и охладит воздух, не охлаждая ничуть сердца.

Так было и прошлой весной. Немного чаю и шоколада и любимая музыка, случайно заигравшая по радио. И разговор. Так будет и впредь.

Я ее люблю за это. Любить весну за пасмурные дни? За это можно любить и осень, но только листья весной намного моложе, и все еще тогда — впереди...

Тушь и перо — верные друзья. Приходят за вдохновением следом. И я рисую или пишу.

Безумица, чего я жду? Сама в силах слепить это из комка глины...

Каждый — сам скульптор своего счастья. Сегодня это для меня будет просто бесформенный комок.

Да, я старательно леплю бесформенный кусок счастья, но бесформенный еще по-иному, нежели только что. И чем неопределеннее, тем лучше. Ведь я еще не знаю, что нужно мне для полного счастья...

### *Пластилиновые джунгли*

Все время будни, все время ненастье...

Ботинки вымоет грязный снег... Пальто сама вычищу. Оно, такое черное, должно быть, чтобы не казаться таким строгим, впитало в себя много

светлого. летящие пушинки, голубые, пронизывающие глаза прохожих, редкие снега. Все это нужно немедленно стряхнуть...

А шапка-то, когда-то светло-зеленая, должно быть, застеснялась своей простоты и светлой непосредственности. Не хочет конфликтовать с чопорным пальто, тоже застрявшая...

Так и люди — изначально друг на друга непохожие — стремятся почему-то к одинаковости, которая, как правило, оборачивается серостью.

За это люблю серый — в нем все цвета смешались, как в коробке с пластилином. А люди — как дети, играющие в этот пластилин, смешивают себя и других, по-ребячески наивно полагая,

что это сблизит их с окружающим миром, друг с другом.

Пожалуй, я — один из тех маленьких комочков, что никак не хотят смешиваться, один из тех ярко-желтых или, по крайней мере, оранжевых наглицов.

И — о, как тогда злятся эти гигантские малыши с огромными ладонями, что не уставая мнут, правя мягкой податливой массой. Главное — разминать не отрываясь, не покладая рук, пока пластилин не остыл. Иначе — так и останутся разноцветные прожилки, и будут пластилиновые джунгли. Дебри пятен светлых и темных, ярких и монотонных. Они будут спорить между собою, как люди, не понимающие друг друга.

**Александр Гончаров**

*г. Иркутск*

## ВКУС НЕБА

Это случилось где-то в середине августа. Ветра не было. Тихо дремали обласканные солнцем кусты смородины.

Я сидел на крыше своего дачного домика. Надо мной расстился ультрамариновый океан. Бездонный, истинно чистый, самый синий в мире. Я чувствовал, как Бессонное Око наблюдало оттуда за мной.

В небе плавно кружилась белая точка, но это была не бабочка. Мною овладели какие-то неясные предчувствия. И не напрасно. Точка приближалась и росла. Это был конь с крыльями. Он был белый как снег, пожалуй, даже еще белее.

Я мысленно просил его не улетать. Он насторожил уши, встряхнул гривой и мягко приземлился. Мы беседовали, не открывая рта. Иногда он кивал головой.

— Жаль, что я никогда не видел тебя зимой.

— Зимой меня и не увидишь. В небе над городом столько сажи и дыма! Я боюсь запачкаться и улетаю подальше.

— Где же ты зимуешь?

— Иногда в Греции. Там живет мой

дед Пегас. Больше всего мне нравится зимовать в Индии.

— Ты случайно не знаком с Единорогом?

— Я видел его несколько раз. Он гордый эгоист и не желает знаться со мною.

— Ты очень устал? Ты хочешь есть или пить?

— Что ты! Я же ненастоящий. Я лишь результат твоего воображения.

— Интересно, чем ты питаешься?

— Я питаюсь твоими мыслями, твоим вдохновением. Думай обо мне почаще.

— Мне кажется, что у неба кроме цвета и запаха должен быть какой-то вкус...

— Совершенно верно. Причем у неба бывает разный вкус. Вот, например, если небо розового цвета, то вкус у него малиновый. Небо, затянутое серым туманом, имеет вкус овсяного киселя. Черное ночное небо — как черемуха или черноплодная рябина. Багровое небо напоминает вкус кислых слив.

Мы долго сидели рядом и смотрели на небо. Мне хотелось быть там, затеряться, раствориться в этом необъ-



ятном просторе. Конь слышал мои потаенные желания и шевелил ушами. Я осторожно спросил, не открывая рта:

— Какое же оно сейчас?

— А ты попробуешь сам!

Дальше все было очень быстро. Я опомниться не успел, а мы уже неслись как бешеные куда-то вверх и вверх. Солнце светило прямо в глаза. Потом конь замедлил свой бег.

Я несмело протянул руку и нащупал что-то прохладное, мягкое, скользкое. Передо мной была стена из синего мармелада, покрытого слоем голубого

желе. Меня обволакивал медовый запах. Бирюзовое желе таяло на ладони, превращаясь в сладкий сироп. Что это было? Наверное, это был особенный незабываемый вкус первой детской мечты и лучших воспоминаний.

Спускались мы медленно. Конь парил среди необозримых далей, а я не торопил его. Потом я оказался возле дома. Я поблагодарил коня за чудесное путешествие и попросил заглянуть когда-нибудь еще. Белый конь ободряюще подмигнул. Я знаю, что он еще прилетит ко мне. Каждый день я верю в это.





# Подмошки



## Сергей Перфильев

Родился в 1967 году в г. Иркутске. Учился в детской художественной школе № 1. Участвовал в выставках (персональная в ТЮЗе). Окончил биолого-почвенный факультет ИГУ. Публиковался в газетах «Восточно-Сибирская правда», «Честное слово», «Перекресток», «Иркутск», журналах «Сибирь», «Первоцвет». Автор двух книг. Пишет верлибры, эссе, пьесы.

## БРОШЕННЫЙ ДОМ

Драма

### Действующие лица

Т о н я — девушка лет 25

Ю р а — молодой человек, несколько нагловатый, лет за 25

Т а р а к а н ы ч — мужчина, достаточно скромный, интеллигентного вида, ему за 30

Такой дом можно увидеть только где-нибудь в забытой Богом и людьми заброшенной местности... На окраине леса, вблизи старого кладбища, неподалеку от реки. Дом этот бревенчатый, одноэтажный, с заколоченными кое-где окнами. Почерневший от времени и судьбы.

Этот дом-изба обращен к зрителю единственной, но достаточно просторной комнатой — сценой, в центре которой стоят старинные часы в деревянном футляре. Где-то в стороне — русская печь. По углам — деревянная скамья, чугунный горшок, ухват... Возможно — что-то еще; это — давняя, позабытая утварь.

На улице — уже сумерки достаточно теплого сибирского лета. Впрочем, улицы никакой нет.

Итак, трое туристов бродили достаточно долго, пока не вышли по дороге к заброшенному дому, расположенному где-то на окраине отдаленной деревни.

### Сцена первая

Т о н я входит в пространство дома-избы откуда-то справа, неся на плечах массивный желтый туристический рюкзак. Она озирается по сторонам, с интересом рассматривая интерьер дома, который, впрочем, отсутствует.

Затем снимает с плеч рюкзак, ставит его на пол и артистично, на цыпочках проходит к печке. Стучит о нее три раза кулачком (тук, тук, тук), после чего говорит:

— Домовой, домовой! Пусти нас переночевать!

Следом за ней входят ее друзья — Юра и Тараканыч.

Ю р а. Не так просишь, дорогуша!

Он поворачивается к печке спиной и ударяет о нее несколько раз ботинком левой ноги. Где-то вверху слышится треск и что-то осыпается на пол. Юра пугается, прикрыв рот рукой.

Т а р а к а н ы ч. Ребята, давайте жить дружно! Не гоже хлестать ногою по печке. Ведь под печкой обитает дух дома, такой маленький седой

старичок с окладистой бородой. В доме он — главный. А в подполье у нас живут... Кто?.. Шуликены... Вот! Я знаю присказку, особый заговор.

Он натягивает на голову штормовку со спины и, повернувшись лицом к печке, говорит. Ширда, Хварна, Зарима!

Повторяет это три раза, после чего достает из кармана штормовки какой-то мешочек и что-то сыплет из него с шепотками в разные стороны.

Юра приходит от этого в восторг, он сосредоточенно притоптывает ногами, затем восклицает: «Асса!» После чего садится на пол.

Ю р а. Ну, ты у нас прям-таки профессор... кислых щей!

Т а р а к а н ы ч (*поправляя его*). Академик.

Ю р а. Точно! Академик подвальных наук!

Т а р а к а н ы ч. Почему подвальных? Подпольных!

*Хохот, оживление*

Т о н я (*включаясь в разговор*). Точно, так оно и есть! Здесь же должно быть подполье. Знаете, я в детстве бывала у бабушки в деревне, так мы открывали подполье, ставили свечку, зеркало и гадали. А в этом доме его что-то не видно.

*Она ходит, рассматривая пол*

Ю р а. Подполье здесь заколотили еще при Царе Горохе!

Т а р а к а н ы ч. А может быть, его просто засыпало землей?

Т о н я (*помолчав*). Вообще-то странно... Такая деревня, на берегу реки; кругом — покосы, луга, но отчего-то — заброшенная, забытая. Люди отсюда ушли, но куда и зачем?

Ю р а (*смеясь*). Наверное, поднялись на небо! О чем ты говоришь? Ведь это — бесперспективный район; здесь даже дорогу и ту размыло, а она — единственная, так же, как и мост — один на всю округу... В ста двадцати километрах!

Т а р а к а н ы ч. Правильно мыслишь, Юрча, дорога здесь — хуже некуда, а река-то, кстати, горная, ушлая; камушки перебрасывает на десятки тонн. Весной, да, пожалуй, и летом, когда

оканчивается таянье снегов, — какой мост устоит?

Ю р а. Да, мосты тут — деревянные... Сиречь — гнилые, ветхие и трухлявые!.. Не помогала им ни советская власть, ни черт, ни Бог!.. А вернее, все-таки помогала разбрестись местным жителям... Которые — по соседним колхозам, а которые — на погост!

Т а р а к а н ы ч (*зевнув*). Ну, зря ты так, зря! Советская власть здесь и построила тот капитальный мост, помнишь его? На бетонных плитах. Магазин здесь был, автобус когда-то, по-видимому, ходил... Правда, редко... Однако же теперь из этого — ничегошеньки! Пустыня Сахара в нашем родном, мерзкоконтинентальном климате!

Ю р а. Во-во! Валенки на яблонях — вместо бананов!!!

*Смеется*

Т о н я. А действительно, ребята, здесь какая-то удивительная аура, какое-то притяжение. Колодцы, покосившиеся кресты на погосте... Заколоченные дома, мутное небо над головой... Пьяные заборы, треснутые печные трубы... И береза во дворе заброшенного дома...

Т а р а к а н ы ч. Это где мы видели череп коня?

Т о н я. Да, именно там. Неизжитые воспоминания рождают все новую боль...

*Пауза*

Ю р а. А правда, господа! Чей это был череп? Тараканыч, ты уверен, что именно лошади?

Т а р а к а н ы ч. Ну, а ты как думаешь? Не коровы же, ей-богу... Тогда бы сохранились рога!..

Ю р а (*со смехом*). А может быть, это была именно такая вот комолая тетушка? Тетушка Му?

Т а р а к а н ы ч. Может, и так... Или — ослик Иа-Иа!

Т о н я (*поправив прическу*). Ну и шуточки у вас, боцман! У меня прям мороз по коже.

Т а р а к а н ы ч. Давайте перекусим, ребята!

Ю р а. Давайте. Только вот что жалко: у нас нет шнапса. А то по этому поводу можно было и выпить. За успешное окончание нашей экспедиции!

Он говорит все это ёрничая

Т а р а к а н ы ч. Деревня, пусть даже брошенная, — все-таки знак цивилизации.

Юра и Тараканыч достают из рюкзаков нехитрую снедь и раскладывают это на газетке, расстеленной на каком-то ящике. Они начинают есть яйца, бутерброды, печенье.

Т о н я. Ребята, а какие обалденные пейзажи встречались! (Жуя бутерброд.) Море розового иван-чая на фоне белоснежных гор. Обалденно! Как в Гималаях!!! Проржавевшие лиственницы в ультрамариновом небе, на котором — ни облачка!

Ю р а. А правда, лес — как будто выгоревший, километра на три... (Непрерывно жуя.) Там, наверное, когда-то был пожар — несколько лет назад.

Т а р а к а н ы ч. Может, и был пожар... А возможно даже — Тунгусский метеорит пролетел — он-то и повалил лес!.. Но скорее всего — злое солнце, которое и пожгло все вокруг — на множество километров. Тут никакого метеорита не нужно! Свежие раны на древней земле...

Ю р а (задумчиво). А дому-то что? Сгорит — отстроят заново! При условии, если здесь будут люди...

Короткая пауза, молчание

Ю р а. Ну, да... Если они не разбежались, как тарбаганы. Не попрятались по заугольям.

Т о н я. А мне больше всего понравился дацан. Пусть даже он не очень старый, но вполне достойный.

Ю р а (отходя к двери). Достойный лучшей участи!

Т о н я (не обращая внимания). Три аккуратных домика, а в центре — молельня. «Ом мани падме хум!» А вокруг — бегают белочки, стучат дятлы. Красота! Душа в союзе с природой.

Т а р а к а н ы ч. Раньше там, в одном из домиков — в том, который самый древний, — стояла бронзовая статуя Будды. Потом ее уволокли...

Т о н я. Ты разве там бывал?

Т а р а к а н ы ч. Ну, Тоня, откуда? Так, люди балакают... Будто раньше там ставили котлы, варили мясо. Это когда местное население собиралось на праздник. Сагаалган, например.

Т о н я. И что, отмечали обильными возлияниями?

Ю р а (из другого угла). А как же иначе, душа моя? Таков обычай.

Т а р а к а н ы ч (продолжая рассказывать). Вообще-то вокруг дацана было, говорят, шаманское кладбище... Шаманов там хоронили. Рядом вообще — священная гора. Местная святыня.

Т о н я. А почему она священная, из-за того, что на ней белый песок?

Т а р а к а н ы ч (прохаживаясь по избе). У местных существует поверье, что на нее первой ступила нога богини. Так гора и стала священной.

Он картинно наступает одной ногой в центре сцены-избы.

Ю р а. Но женщинам туда нельзя, на эту гору!

Т о н я. Нужна мне эта гора! Подумаешь, какая важность... И вообще, зачем туда приходят люди? Повязать лоскуток материи, бросить монетку... И поминай как звали!

Т а р а к а н ы ч (тихо). На этой земле бросить монетку и повязать ленточку на сосну или березу значит — приобщиться к вечности.

Ю р а. Ну, ты у нас прямо философ.

Пауза

Т о н я. Даже не представляю себе, как они тут зимуют! Снега, наверное, по пояс.

Ю р а. А они, по-видимому, уходят на дно и выкапывают там себе норки!

Т а р а к а н ы ч. Как раки?

Ю р а. Во-во!

Беззаботный хохот

Т о н я (вздыхнув). Да, Юра, тебя бы сюда — перезимовать хотя бы разок!

Ю р а (насмешливо). Мы сюда не приучены, нам подавай крупные города. И вообще, желательно — столицу.

## Сцена вторая

Ю р а прохаживается взад-вперед по пространству сцены-избы, заглядывая, кажется, во все щели; отодвигая от стены какой-то ящик. Вдруг он замечает часы — массивные,

в деревянном футляре, напольные. Однако почерневшие от времени. Они завешены полупрозрачной материей. Он ее снимает. С удивлением разглядывает циферблат. Сдувает пыль со стекла, плюет на рукав и стирает пыль с металлического ободка. Все его действия: дунул-плюнул. Кажется, находка ему понравилась.

Ю р а (*торжественным голосом*). Господа, господа! Я имею честь представить вам эти часы. Пусть даже они остановились давно, лет двадцать назад, однако вместе с тем это — реликвия.

Тараканыч и Тоня подходят к ним и рассматривают.

Т о н я. Ой, чудо! Я и не заметила.

Т а р а к а н ы ч. Да-а... Такова жизнь. Деревни давно уже нет, люди разбежались, а часы — туточки притаились. Притихли себе и ждут, кто бы к ним зашел, запустил механизм.

Ю р а (*приоткрыв дверцу часов*). Ну-ка, что у них тут сохранилось? Гирька сохранилась.

Он потянул, что-то затрещало... Часы пошли, тикая редко и глухо. Но через некоторое время остановились.

Т а р а к а н ы ч. Н-да, гримасы времени, ужимки бытия... Видимо, их запустили — и не очень давно. Но кто? Когда? И зачем?

Ю р а. Ты погляди — какая работа!.. Должно быть, Германия, а может быть, Франция. (*Читая надпись на циферблате.*) Что-что-что?.. Кажется, Шлигель!.. По-видимому, на родине моей прабабушки... Определенно, это — антиквариат, пусть даже в таком жутком состоянии!.. Дерево, конечно, подгнило, и притом основательно... Механизм, по-видимому, проржавел... И все-таки, все-таки!.. Думаю, стоит их отреставрировать и вообще привести в божеский вид!.. Ребята, я, пожалуй, их заберу!.. Тараканыч, поможешь мне нести рюкзак?

Тот ошарашенно посмотрел на часы, затем на Тоню, после чего опять на часы.

Т о н я. Нет уж, Юрыч! Пусть все остается так, как есть. На прежнем месте.

Ю р а. На прежнем — так на прежнем... Черт с ними!

После чего он наклонился и открыл дверцу — где-то в стороне за часами.

Ю р а. Корнет Оболенский, надеть ордена!

Он достает оттуда початую мутную бутыль.

Т а р а к а н ы ч. Юрка, чудило ты эдакий! Нашел самогон?

Т о н я. Ой, ребята, а вы не отравитесь?

Ю р а. Да все ништяк!

Он ставит бутылку на стол, сдувает с нее пыль, рассматривает мутную жидкость на свет.

Все будет фajn! Ща, продегустируем...

Он наливает какое-то количество жидкости в пластиковый стаканчик, нюхает, морщится, затем передает Тараканычу. Тот осторожно выпивает, довольно крикнув. Кажется, продегустировали.

Т а р а к а н ы ч. Потрясающе!

Затем уже Юра наливает и выпивает. Короткая пауза.

Ю р а. Похоже — первач.

Т о н я. Оставшийся здесь со времен Государя Императора!

Ю р а (*картинно подает стакан*). Антонина, желаешь?

Т о н я. Нет уж, Юра, спасибо... Какнибудь обойдусь!

Ю р а. А мы-то не обойдемся!

Ю р а и Тараканыч садятся на ящик, закусьвают. Пауза.

Т о н я. Фантастика! Стояли, стояли себе часы, никому они не были нужны, потому что остановились всерьез и надолго... Слово бы выжидая кого-то... Наверное, жителей этого дома, их детей и внуков. Дождались — туристов, странников.

Ю р а. Тоня, а кто сюда вообще мог приходиться? Разве что местные бродяги, выходя из тайги. Бичи деревенского розлива...



Т о н я (*помолчав*). А эта накидка на часах, откуда она?

Тоня подходит к часам, нагибается и поднимает накидку. Рассматривает ее, затем бережно сворачивает и кладет рядом с часами.

Т а р а к а н ы ч (*захмелев*). Это не накидка, как я погляжу... Это — плащ, тога, саван! Саван умершей деревни... Так что ты, Антонина, смотри! (*Он грозит ей пальцем.*)

Ю р а. В таком разе, давай еще по одной!

*Он наливает, они выпивают.*

Т о н я (*рассматривая печь*). Печка-то какая древняя, дымоход весь в трещинах.. Похоже, здесь что-то готовили. Следы молока, сухих листьев, каких-то кореньев... Кому-то понадобилось снабдь!

Ю р а. Дьявольский эликсир?

Т о н я. Нет, это... Всего-навсего — щи!.. Они готовили щи или уху... (*Берет что-то двумя пальцами.*) Рыбий хвост!.. Или — русалочий...

Т а р а к а н ы ч. Брошенный дом, оставленная деревня, бесперспективные поселки, речки и луга — зона абсурда, обреченности, безысходности... Когда-то здесь жили люди, но постепенно разъехались.

Т о н я (*растерянно*). Что же нам встретилось по дороге сюда? Коровий череп, покосившийся крест и засыпанный колодец по-над россыпью звезд... И никуда от этого не уйти!

Т а р а к а н ы ч (*Юре*). Видишь ли, нашу Тоню страшно угнетает вид брошенной местности, заколоченного дома. Этот клочок земли для нее — лишь погост, населенный упырями и призраками!

Ю р а (*выпив и закусив*). Дети мои! Я и сам удручен; право слово, не могу наглядеться. Ветхий сарай, кабина трактора, вросшая по уши в землю, колесо от телеги... Треснутая печная труба, древнее почерневшее корыто... Но мне-то что до них? Я здесь всего лишь гость! Случайно забрел, хотя мог бы пройти мимо... Имею полное на то право! Я получил грант, международный грант, Антонина — в курсе!..

Тараканыч вышел прочь. Юра ходил по избе взад-вперед, говоря это, будто перед большой аудиторией. Очевидно, вспотел; достал носовой платок, вытер лицо, после чего налил себе очередной раз небольшое количество алкоголя. Затем он продолжил говорить.

Уважаемые! Нужно увидеть другое... Национальный парк?! Заповедник?! Заказник, да?! Да, здесь разруха, отстой!!! Бесперспективная планета! Это не я должен думать, это онучи пусть думают! Местные лапти... Край непуганых идиотов!

Будто выключившись из розетки, он садится резко в угол, охватив руками голову.

Т о н я (*присев и охватив руками ноги*). Ничего страшного, этот дом — всего лишь контрапункт. Мы ведь не знаем, в какую точку движется время... Может быть, именно здесь оно и остановилось. Остановилось, чтобы двинуться вспять!

*Входит Тараканыч*

Ю р а. Во! Был бы человек, а статья найдется!

*Наливает понемногу алкоголь в два стаканчика*

А я думаю, где задержался наш Почетный член Циркониевого клуба, а по совместительству — архивист второй категории? Как там климат на улице — погодка ништяк?

Т а р а к а н ы ч. Хорошая погода и неплохая видимость. Огромная луна висит над округой... Как кусок голландского сыра, изрыта кратерами!

Т о н я. Я вот что-то вспомнила надпись в дацане... «Все пернатые — птицы крылатые, но одни — орут и гогочут, а другие — стонут и плачут...» Так и в нашей жизни!

Ю р а. Это действительно так... Что тут поделаешь?

Т а р а к а н ы ч (*словно припомнив что-то важное*). Я, когда давеча вышел, вдруг слышу — едет будто старый велосипед, спицы шелестят... И точно. Смотрю, по дороге едет какой-то мужик — весь в черном, а за плечами — мешок!. Так и проехал — Пассажир Полнолуния!

Ю р а. Может, это бомж какой?.. Или просто таежник?..

Т а р а к а н ы ч (*помолчав*). Да нет, это Ангел Округи... Он собирает наши грехи! Ну, грехи проходящих в этих местах людей... Как все равно мусор какой — бутылки или консервные банки... Ангел Округи.

*Он задумчиво берет в руки бутылку.*

Ю р а. Всю не выпивай, оставь на завтра...

Т а р а к а н ы ч (*задумчиво*). Консервные банки, мусор и этикетки... Вмерзшие в озеро, затерянное в ночи.

Ю р а. Все, дети мои, отбой. Хватит лирики, спать пора!

Они устраиваются на ночлег, каждый в своем углу, расстелив спальные мешки. Через какое-то время часы вдруг бьют несколько раз. Тоня просыпается и подходит к часам.

Т о н я. Ну и перепугали же вы меня... И чего вам не спится? Вы стояли десять лет, а возможно — и целую вечность... Так чего же вы вновь пошли? Ведь в покое, невесомости, летаргии — больше стабильности; ибо сон — это кусочек вечности, дарованный Свыше.

Тоня засыпает. Ночь идет своим чередом. где-то скрипит дерево, а где-то шуршат мыши. Тараканыч внезапно просыпается. Он достаточно пьян.

Т а р а к а н ы ч (*задумчиво*). Что же получается? Зброшенный дом, рядом — погост, неподалеку — речка... Какие тут могут быть люди? И откуда? (*Пауза*) Мы здесь — как на дне темного колодца, а вокруг — хляби небесные... Дождичек, сумерки и огромная старая ель, заслоняющая, кажется, кого-то недоброго в поношенном армяке...

Он берет бутылку, наливает полстакана, выпивает. Затем, кажется, еще. Через некоторое время он встает и начинает приплясывать, гримасничая и напевая что-то на шаманский манер. Видно, что он уже чрезмерно пьян. Садится на пол.

Т а р а к а н ы ч. Дом, я не хочу, чтобы ты умирал!.. Я желаю видеть здесь

живой очаг... Я хочу, чтобы в твоих стенах не изживалось тепло людей... Я хочу, чтобы разгладились морщины твоих углов... Я хочу, чтобы сюда пришли люди!

Он подбирает что-то на полу: мелкие щепки, картонки, веточки, другой мусор. Затем собирает все это в кучу и разжигает костер. Свет костра разбудил Юру.

Ю р а (*с ужасом*). Ёшкин кот! Что ты делаешь? Сгорим, мать твою!

Он вскакивает на ноги и пытается потушить маленький костерок. Но Тараканыч защищает костер, отталкивая руками Юру. Тоня проснулась, вскочила на ноги.

Ю р а. Сдурел?!

Он кулаками сбивает Тараканыча с ног и затем спокойно затаптывает костерок...

Т о н я (*кричит*). Не трогай его!

Ю р а. Вот идиот!.. (*Садится на пол.*)

Тоня бережно берет пострадавшего за руку.

Т о н я. Стасик, больно тебе?.. (*Она гладит его по голове.*)

Ю р а. Нет, ты подумай, а загорелось бы все?.. Полыхнуло бы, а?! Не успели бы выскочить, зажарились, как лягушки в гриле!!! (*Помолчав*) Сестра Милосердия, Мать Тереза... Ну кого ты защищаешь?

Тараканыч вытирает кровь платком.

Т а р а к а н ы ч (*виновато*). Я хочу, чтобы дом жил... Я всего лишь зажег очаг... Затешил свечу человеческой надежды!

Т о н я (*Тараканычу тихо*). Зачем ты так?.. Ведь мы могли сгореть!.. И перепил ты вчера. Думать надо! А дом этот жив — пока живы мы сами. Наступит рассвет, и мы покинем его; наверное, на время, а может быть, навсегда. Он останется в нашей памяти. И мы вернемся к нему, обязательно вернемся... А сейчас — нас ждет дорога!

*Занавес медленно опускается.*

# Конкурс

## ПО ИТОГАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА «БУДУЩЕЕ, УВИДЕННОЕ СЕГОДНЯ»

**Э. В. Гирусов**

*доктор философских наук,  
профессор, зав. кафедрой  
философии РАН, г. Москва*

### ПОЖАРЫ

Лесным пожаром изувечен  
Планетный шар — виновен человек.  
Жестоким алчностью отмечен  
Прошедший век и новый век.

Две трети леса уж не стало  
С цивилизованной поры,  
А человеку мало, мало,  
Бушуют пламенем костры.

Горят в них дуб, береза, тополь,  
Горит кедровая краса,  
А в ненасытных чревах топок  
Пылают прошлые леса.

Молю, от грустных мыслей мрачен:  
Господь, хоть ты нас успокой.  
Огнем не просто лес охвачен —  
Ведь то горит наш дом родной.

И как прикованный когда-то  
Огонь укравший Прометей,  
Погибнет Ното плутоватый —  
Игрушка собственных страстей.

## БОЛОТНАЯ ЖИЗНЬ

В одном теплом болоте жил Водяной. Он был толстый, важный, очень любил зеленый цвет и постоянно носил зеленый костюм. Целые дни он восседал на покрытом тиной плоском камне и командовал скользкими лягушками, которые с восторгом заглядывали ему в рот и выполняли все, что он скажет.

Лягушек было несколько, и звали их, соответственно, Лягуш I, Лягуш II, и Лягуш-на-побегушках. Каждый из Лягушев был за что-нибудь ответственным. Лягуш I, например, охранял болото от посягательств чужеземцев. Иногда он ходил в обходы, присматриваясь — не появился ли кто лишний. Попутно этот Лягуш ловил комаров, мошек, разную другую мелочь и приносил ее Водяному на обед и ужин. Много из того, чем занимается Лягуш I, было тайной. Он часто уходил куда-то далеко от своего болота, потом возвращался и долго булькал — разговаривал с Водяным. Другим Лягушам тоже иногда позволялось присутствовать при таких беседах. Они очень гордились этим и считали себя самыми умными во всем болоте.

Другой Лягуш, Лягуш II, отвечал за то, чтобы в болоте не осталось каких-нибудь незнакомых мест. Этого Лягуша можно было бы назвать ученым, но для этого у него не хватало интеллигентности. Он квакал на всех, кто попадет к нему на пути. При этом глаза его вылезали из орбит, и многие в болоте его боялись, особенно ручейники. Они сразу прятались в свои домики и закрывались лапками.

Лягушу-на-побегушках повезло меньше всех. Водяной советовался с ним редко, а до важных разговоров вообще не допускал. Но Лягуш-на-побегушках не отчаивался. Он верил, что когда-нибудь придет и его время. А пока выполнял свою скромную работу. Заключалась она в том, что он за всеми подглядывал, подслушивал разговоры и обо всем увиденном и услышанном докладывал Водяному. В результате заработал профессиональный недуг — у него согнулась спина и очень расширились слуховые отверстия. За добросовестность Водяной повысил Лягуша-на-побегушках в чине, и он стал называться Начальником Просвещения.

Став Начальником, Лягуш-на-побегушках пробовал выпрямить согнутую спину, но ничего не выходило. Потому он продолжал неожиданно появляться в самых разных местах болота, согнутый и молчаливый. Никто не любил бедного Лягуша-на-побегушках, он это чувствовал и в душе был очень одинок.

Так бы и жили спокойно в своем болоте и Водяной, и Лягуши, но случилось несчастье — поселилась на болоте пара цапель. Целый день они бродили по воде в поисках еды.

Водяной и Лягуши ушли в глубину и собрали экстренный совет. Лягуша-на-побегушках на совет не пустили. Ему было доверено важное дело — заставить цапель переселиться на другое болото. Цапель Лягуш-на-побегушках боялся, но Водяного боялся еще больше. Потому он отправился выполнять задание.



Спрятавшись в самую гущу травы, он высунул из воды мордочку и жалобно проквокал:

— Цапли! Улетайте отсюда, пожалуйста. Не то хуже будет...

Но цапли не поняли, что говорил им Лягуш-на-побегушках. Одна из них подхватила его клювом и быстренько проглотила.

Когда Лягуш-на-побегушках не вернулся, в компании Водяного возникло волнение. Лягуш I исчез незаметно для всех. Лягуш II схватился за голову и вытаращил глаза. В них застыл вопрос — ЧТО ДЕЛАТЬ? Только Водяной был спокоен, как всегда. Ему вообще волноваться было противопоказано. Ведь от этого хudeют.

— Твоя очередь работать, — спокойно сказал он Лягушу II. — Ты у нас все-таки ученый.

Лягуш II торопливо поплыл к поверхности. Он вынырнул прямо у ног другой цапли и тут же завопил что было мочи:

— А ну-ка, убирайтесь отсюда, мерзкие создания! Не надо тут воду мутить! Не надо!

Через минуту горластый Лягуш исчез в клюве у цапли.

Осенью цапли, наконец, улетели. После этого никто и никогда не слышал в этих местах лягушачьего кваканья. И Водяного, говорят, тоже не видно. Возможно он похудел и потерял солидность. Ведь кормить его стало некому...

**Петр Усов**

*с. Бирюлька Качугского р-на  
Клуб друзей Байкало-Ленского  
заповедника «Исток»*

## КАК СЕМЕЧКО СВОЕ СЧАСТЬЕ ИСКАЛО

В далекой Сибири, в отдаленном от цивилизованного мира месте, в стороне от заброшенной дереvушки на поле стояла старая береза. На ней почти не было живого места, лишь три зеленых веточки говорили о том, что еще жила, еще дышала, но — уже едва-едва. Наверное, это было ее последнее лето. Сережек на ней было совсем мало, не то что в молодости, когда по перволетью она становилась похожа на красавицу невесту. Ах, сколько ее детей уносил ветер, и ни одного деревца не осталось с матерью. Как горько ей было расти одной, не видя своих родненьких сыновей и дочек. Ее соседка, Черемуха, вот уже три года не разговаривала с ней. Она была намного моложе березки, а ведь вы сами понимаете, какому молодому интересно говорить с бабушками. Так и жила наша березка в полном одиночестве. А по весне она по-прежнему лила слезы, хотя уже почти совсем иссохла.

От этих слез у нее появились глубокие морщины. Ее береста была уже не так бела, как несколько десятилетий назад, и с каждым годом она становилась все более темной и сухой.

Именно в тот год в этих краях гулял Ветер, но это был не простой ветер, а волшебный — король всех ветров. Он-то и увидел плачущую березу. Пожалел ее и спрашивает:

— О, добрая березушка, скажи, чем я могу помочь тебе?

— Ах, батюшка Ветер, ничего мне не надобно от тебя, — промолвила березка.

— Но ведь я многое могу сделать, например — вернуть молодость, возвратить прежнюю силу и здоровье, сделать тебя счастливой, наконец. Хочешь, я выполню три твоих желания, — шумел Ветер.

Но березка взглянула на него печально и сказала:

— Я прожила долгую, пусть даже несчастную жизнь, но, зная, такова моя судьба, и я не хотела бы пережить все заново. А вот если бы ты помог моим детям определиться в этой жизни, я была бы признательна тебе всей душой.

Ветер склонил свою седую голову, расправил развивающуюся на много километров бороду и сказал:

— Прости меня великодушно, березушка, но я могу выполнить желание лишь одного твоего детища...

Тут из сережки выпрыгнуло одно маленькое невзрачное семечко. Оно было очень напористым и даже слегка нахальным. А если бы обладало носом, то задирало бы его очень высоко. Семечко сразу же запищало:

— Я! Я хочу чтобы исполнились все мои желания и чтобы было я самым счастливым!

Береза-мать ничего не сказала об этой выходке своего сыночка. Даже наоборот, она обрадовалась, что ему повезет в жизни больше, чем повезло ей.

Желания крохотного семечка были никак не под стать его размеру. Оно хотело стать как минимум «дубом» в этой жизни. А так как в округе все деревья были невысокого роста и ничем выдающимся не отличались, решил наш малыш поискать судьбу в другом месте. Для начала он подумал, что надо подобрать себе какое-нибудь имя. Назвался он Семеном, так как появился из семени, отчество взял Сергеевич, потому что вышел из сережки, а фамилию взял по матери — Березов.

Батюшке Ветру характер юного Березова очень понравился. «Надо же, хиленький, маленький, а какой резвый», — бурчал он себе в усы.

Попросил наш Семен унести его туда, где всегда тепло и чтоб влаги было в избытке. Ничего не ответил Ветер, просто дунул в свой волшебный ветровой ус, и, через мгновенье пролетев полсвета, оказались они в лесах Амазонки, в стране Лиан.

Лианы здесь стелились по земле, взбирались на стволы деревьев, перебирались с ветки на ветку, с одного великана на другое. Некоторые лианы так крепко обхватывали стволы, что деревья задохнулись в их смертельных объятиях и погибали.

Семен страшно испугался, увидев, как одно растение давит другого, и подивился тому, как исхитряются его братья-растения подниматься ближе к свету, безжалостно давя и душа своих соседей.

— Меня так же задушит лиана или задавит какой-нибудь кустарник, а я не хочу умирать молодым и безызвестным. Батюшка Ветер, — взмолился он, — унеси меня, пожалуйста, отсюда. Унеси туда, где мои братья не борются так за лучик света, туда, где за мной бы ухаживали, берегли.

— Ну что ж, быть по-твоему, — сказал Ветер, снова дунул в свой волшебный ус, и они полетели через большой синий океан и очутились в одном из городов Европы. Деревья здесь были посажены строго по линеечке, каждое было ухожено, подстрижено и очень красиво. Но Семену показалось, что совсем не веселы эти деревья. Лежа на большой ветровой ладони, он спросил у одного из деревьев:

— Отчего вы, деревья, такие печальные? Ведь здесь так хорошо — столько света и воды, а земля — точно пух.

— Ах, если бы ты знал, малыш, как худо нам здесь приходится, — отвечало дерево, — лишней раз ветку не выправь, корешок не пусти — срежут. Иногда поливают такой гадостью, что все тело начинает ломить, а листья становятся неестественно зелеными... Задумался Сенечка: «Неужели люди такие жестокие?» И попросил Ветер:

— Унеси меня, батюшка Ветер, туда, где нет людей и много-много места, где деревья растут на просторе и им не обрезают пальцы.

Прошептал что-то Ветер и в третий раз дунул в свой волшебный ус. Вскороности очутился наш Семен в бесконечной, необъятной тундре.

— Вот где я стану Великаном, — прошептал наш герой и стал осматриваться — подыскивать место, где ему предстояло вырасти. Но куда бы он ни посмотрел — везде были одни голые камни, лишь за одним из больших валунов он обнаружил крохотную корявую березку, которая была совсем не похожа на его маму. Эта березка-то и поведала ему о нелегкой жизни в этом суровом краю.

Семен не знал, что же ему теперь делать. Он думал: «Неужели нигде на Земле нет места для меня. Как все-таки трудно жить в этом мире!»

Он с грустью вспомнил свою Родину, маму, братьев и сестер, с которыми мог расти рядом, и решил попросить своего друга-волшебника о последней услуге. Но исчез Ветер, точно и не было его никогда. Горько заплакал Семен и даже не заметил, как к нему подошел седой старик и спросил:

— Чего ты плачешь, малыш?

Семен сразу же узнал голос своего доброго друга Ветра, но, когда огляделся, то не увидел никого, кроме седого улыбающегося старичка.

— Ты кто? — удивился Семен.

— А ты разве не узнал меня? — спросил старик.

— Неужели это ты, батюшка Ветер? — еще больше удивился маленький путешественник.

— Конечно, это я, — ответил ему бывший Ветер. — Когда-то я был юношей — стройным молодым красавцем, но добрая фея заколдовала меня за чрезмерную наглость и хвастливость, за то, что я жил только лишь для себя, не думая о других. Сначала она превратила меня в легкий ветерок, потом за то, что я много лет помогал людям, зверям и растениям, она сделала меня главным среди ветров и наделила меня волшебной силой. Срок действия заклятия — 70 лет, и потому все эти годы я старался помочь всем несчастным, в том числе и твоей матери. Сегодня время заклятья истекло, и я вновь стал человеком. Но зачем? Ведь у меня нет ни семьи, ни детей, ни друзей. Для чего теперь жить, я и не знаю.

— И я не знаю, — вздохнуло семечко, — только очень хочу попасть к себе домой, в Восточную Сибирь, к маме, братьям и сестрам, к своей родной земле. Только как?

— Неподалеку отсюда, на горе Уямкан, жила когда-то та самая фея. Возможно, она и сейчас там. Только она в силах помочь тебе.

Четыре дня и четыре ночи шли они до заветной горы и, наконец, добрались. Фея жила в крохотном бедном снаружи домишке. Внутри же ее дом был сказочно красив и светел. Фея сидела на своем троне и задумчиво смотрела вдаль. Старик с поклоном обратился к ней:

— О, добрейшая, величайшая волшебница! Помоги нам в нашей печали. У меня нет друзей среди людей, но их много среди растений, и душа моя ближе к ним, чем к людям. Прошу тебя, преврати меня в дерево, а этому малышу помоги вернуться домой...

Когда Семен вернулся на родную землю, то не сразу узнал поляну, где он появился на свет. Вокруг подрастали молодые березки, в них он узнал своих братьев и сестер, оставшихся расти рядом с матерью. Старая береза была еще жива, и слеза радости скатилась по ее стволу.

— Вернулся, — слабо зашелестела она листвою.

Сейчас в том месте необъятная березовая роща. Среди белоствольной родни нашел свое место и Семен. А рядом с ним — его друг, Ветер, ставший ныне великаном Кедром.

## ОДИНОКИЙ КЕДР

Где-то на лесной опушке, где волка или медведя можно встретить чаще, чем человека, жил себе одинокий пень. Он был уже далеко не молод и местами начал гнить. Это его сильно беспокоило. Часто во время сырых сентябрьских рассветов или злых декабрьских морозов, когда деревянное нутро его ныло и нестерпимо болело, он вспоминал давние времена своей молодости...

Да, когда-то он был гордостью этой поляны, высоким стройным красавцем кедром, и многие дивились на него. Ни ветер, ни дождь, ни мороз были ему ни о чем. Одного он только боялся — людей. Часто по осени приходили они и дубиной, бывшей когда-то его братом кедром, что есть силы колотили по стволу. Его дочки, кедровые шишки, кучей падали на землю. После таких гостей кедр долго задыхался. Поплачет украдкой от боли и обиды и опять расправит свои ветви. Что сделаешь, нелегко быть людским кормильцем.

А однажды случилось то, что он видел только в самых кошмарных снах. Уже с утра все казалось ему чужим и незнакомым: не пели птицы, попрятались куда-то звери. А где-то вдалеке слышался странный рев. Нет, то не медведь рычал. Увидели жители тайги странные создания, ползающие по земле на брюхе. Они выдыхали синий ядовитый дым, и глаза у них были страшные, большие и круглые. Из чрева этих чудовищ вышли люди и с помощью других чудовищ, маленьких и зубастых, стали спиливать деревья.

Зубы чудовища впились в кедр и начали грызть и кромсать его плоть. Они хотели оторвать его тело от корней. И он задрожал, точно осина, охнул и со стоном рухнул на землю.

Ему отрубили руки-ветви, свалили в кучу, а безжизненное тело, как и тела его братьев, увезли куда-то рокошующие чудовища.

Часто по весне пень проливал тяжелые смолистые слезы. А осенью, точно капли алой крови, горели вокруг ягоды брусники. С каждым годом пень становился все старше. Борьба с водой и ветром отнимали последние силы. Рядом не было ни деревца, ни кустарничка, и одинокий пень постепенно умирал.

Но однажды случилось то, что изменило всю его жизнь. Холодный февральский ветер проносил мимо несколько крылатых еловых семян. Одно, самое крохотное, спрятал пень в своих морщинах. С приходом весны семечко проснулось и ожило. Ему было хорошо под защитой дедушки пня, а еды и воды с лихвой хватало на двоих.

Пень был по-настоящему счастлив. Нет, теперь он не умрет просто так! Сначала надо помочь вырасти елочке, чтобы превратилась она в стройную красавицу, каким был когда-то и он сам.



## ЛЕГЕНДА О РЕКЕ УВАТ И РЕКЕ УДЕ

Жил на свете хитрый и жестокий старик Уват. Не любил он, когда ему напоминали о старости. Не любил он, когда его называли Уватом.

— Нет, не старик я, — говорил он, — а горячий сердцем юноша. И не Уват я, а веселый Уватчик.

И верно, трудно было сказать тому, кто не знал, когда родился Уват, старик он или юноша. Гибкий, горячий, проворный. А лицо всегда прикрыто широкой сильной ладонью — только блестят над нею синие зоркие глаза. И увидеть все лицо его никак невозможно: так и ест, так и спит, так и пьет, не отнимая от лица ладони.

За обиду, самую малейшую и нечаянную, мстил Уват жестоко. Не прощал насмешки над собой никому. Больше всего его боялись девушки. Прибегут весной из тесных гор на лужок поиграть, попеть, повеселиться, бегают, резвятся, а сами оглядываются: не накликают ли себе беды... Увидит Уват — не посчитал бы чистый девичий смех за злую насмешку над собой.

Выходил Уват на порог, прикрыв ладонью лицо, стоял, поглядывал, и не поймешь, нравится ему или не нравится, что веселятся и поют на лужке девушки.

И вот однажды появилась среди них красавица из дальних снеговых гор — по имени Уда. Шумная, светловолосая, с гибкими белыми руками, с тонким станом и высокой грудью, с голосом чище и звонче серебряного колокольчика. И такая просмешница! Повернется в сторону могучих седых Саян, улыбнется, обнажив сверкающие, как белый камень, зубы, помашет рукой, захохочет: «Ох сильны же вы, сильны хребты саянские! Сильны, да неповоротливы...» И пойдет танцевать среди раскиданных по долине острых камней, словно пеной, легким кружевным платком прикрывая свои круглые плечи.

Заприметил Уват красавицу, забилось страстью сердце его. Стал манить, подзывая к себе Уду:

— Подойди ко мне, полюби меня, девушка.

Отозвалась ему с места Уда. Холодом, будто от студенной горной реки, от ее слов повеяло:

— Полюбить мне тебя, старый Уват, не за что.

— Я не старый! — закричал Уват. — Я молодой! И не Уват я, а Уватчик. Подойди к мне, девушка, приласкаю тебя.

Отозвалась Уда, молвила через плечо:

— У тебя и лица даже нет. Злой, жестокий ты старичонка.

— Я — красивый!

— Знать не хочу.

— Не полюбишь?

— Нет.

— Силой возьму!

— Не догонишь.

— Обману!

— Не сумеешь.

И отбежала за камни, пританцовывая.

Протянул к ней в гневе обе руки Уват, открыл свое лицо. И все девушки,

что резвились на лужайке, глянув на лицо Увата, в ужасе от страшного его вида обратились в деревья и кусты. Стали, замерли и не могут слова сказать, предупредить подружку Уду об опасности. А она беспечно танцует, хохочет.

Лег на землю Уват и пополз, извиваясь. А Уда танцует, резвится и не видит подбирающегося к ней среди кустов старика. Не спешит Уват, знает: незачем ему спешить, отпугнуть Уду можно. Пусть танцует, резвится девушка. А он тихонько, от холма к холму... И дополз Уват.

Только силы свои растерял все на извилистом пути. Приподнялся, чтобы схватить, обнять девушку. Да не смог, упал к ее ногам...

Засмеялась Уда:

— Так и лежи теперь лицом вниз всю жизнь у моих ног, злой Уват. И никогда не добивайся любви у того, кто тебя не любит.



# Спратницы классики



200-летие поэта-философа, поэта-патриота, гуманиста, замечательного певца природы **Федора Ивановича Тютчева** — одно из значительных событий в культурной жизни России XXI века.

Тончайший лирик, выдающийся мастер слова, Тютчев оказал огромное влияние на развитие русской литературы. В его лице она обрела поэта-мыслителя, одного из родоначальников русской философской лирики. Поэзию Тютчева хотя и разделяют на лирику политическую, гражданскую, пейзажную, любовную, но часто оговариваются, что это разделение условно: за разными пластами стоит единый принцип видения мира — философский.

Поэт не оставил ни автобиографии, ни дневников, ни записок, ни воспоминаний... Только невеликое по объему поэтическое творчество и обширное эпистолярное наследие дают услышать голос самого поэта, узнать о его отношении к миру и людям. Именно поэтому поэзия Ф. И. Тютчева в последнее время переживает свое очередное рождение.

## Федор Тютчев

### ПОСЛЕДНИЙ КАТАКЛИЗМ

Когда пробьет последний час природы,  
Состав частей разрушится земных:  
Все зримое опять покроют воды,  
И божий лик изобразится в них!

(1829)

\* \* \*

В толпе людей, в нескромном шуме дня  
Порой мой взор, движенья, чувства, речи  
Твоей не смеют радоваться встрече —  
Душа моя! о, не вини меня!..  
Смотри, как днем туманисто-бело  
Чуть брезжит в небе месяц светозарный,  
Наступит ночь — и в чистое стекло  
Вольет елей душистый и янтарный!

(1829–1830)

## ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Есть в светлости осенних вечеров  
Умильная, таинственная прелесть:  
Зловещий блеск и пестрота деревьев,  
Багряных листьев томный, легкий шелест,  
Туманная и тихая лазурь  
Над грустно-сиротеющей землей,  
И, как предчувствие сходящих бурь,  
Порывистый, холодный ветер порою,  
Ущерб, изнеможенье — и на всем  
Та кроткая улыбка увяданья,  
Что в существе разумном мы зовем  
Божественной стыдливостью страданья.

1830

\* \* \*

Я помню время золотое,  
Я помню сердцу милый край.  
День вечерел; мы были двое;  
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,  
Руина замка вдаль глядит,  
Стояла ты, молодая фея,  
На мшистый опершись гранит.

Ногой младенческой касаясь  
Обломков груды вековой;  
И солнце медлило, прощаясь  
С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолетом  
Твоей одеждою играл  
И с диких яблонь цвет за цветом  
На плечи юные свевал.

Ты беззаботно вдаль глядела...  
Край неба дымно гас в лучах;  
День догорал; звучнее пела  
Река в померкших берегах.

И ты с веселостью беспечной  
Счастливым провожала день;  
И сладко жизни быстротечной  
Над нами пролетала тень.

(1834–1836)



\* \* \*

Сижу задумчив и один,  
На потухающий камин  
Сквозь слез гляжу...  
С тоскою мыслю о былом  
И слов в унынии моем  
Не нахожу.

Былое — было ли когда?  
Что ныне — будет ли всегда?..  
Оно пройдет —  
Пройдет оно, как все прошло,  
И канет в темное жерло  
За годом год.

За годом год, за веком век...  
Что ж негодует человек,  
Сей злак земной!..  
Он быстро, быстро вянет — так,  
Но с новым летом новый злак  
И лист иной.

И снова будет все, что есть,  
И снова розы будут цвести,  
И терны тож...  
Но ты, мой бедный, бледный цвет,  
Тебе уж возрожденья нет,  
Не расцветешь!

Ты сорван был моей рукой,  
С каким блаженством и тоской,  
То знает бог!  
Останься ж на груди моей,  
Пока любви не замер в ней  
Последний вздох.

(1835)

\* \* \*

Душа хотела б быть звездой,  
Но не тогда, как с неба полуночи  
Сии светила, как живые очи,  
Глядят на сонный мир земной, —

Но днем, когда, сокрытые как дымом  
Палящих солнечных лучей,  
Они, как божества, горят светлей  
В эфире чистом и незримом.

(1836)

\* \* \*

С какою негою, с какою тоской влюбленной  
Твой взор, твой страстный взор изнемогал  
на нем!  
Бессмысленно-нема... нема, как опаленный  
Небесной молнии огнем!

Вдруг от избытка чувств, от полноты сердечной,  
Вся трепет, вся в слезах, ты повергалась ниц...  
Но скоро добрый сон, младенчески-беспечный,  
Сходил на шелк твоих ресниц —

И на руки к нему глава твоя склонялась,  
И, матери нежней, тебя лелеял он...  
Стон замирал в устах... дыханье уравнилось —  
И тих и сладок был твой сон.

А днесь... О, если бы тогда тебе приснилось,  
Что будущность для нас обоих берегла...  
Как уязвленная, ты б с воплем пробудилась,  
Иль в сон иной бы перешла.

(1837)

\* \* \*

Еще томлюсь тоской желаний,  
Еще стремлюсь к тебе душой —  
И в сумраке воспоминаний  
Еще ловлю я образ твой...  
Твой милый образ, незабвенный,  
Он предо мной везде, всегда,  
Недостижимый, неизменный,  
Как ночью на небе звезда...

1848

\* \* \*

Когда в кругу убийственных забот  
Нам все мерзит — и жизнь, как камней гряда,  
Лежит на нас, — вдруг, знает бог откуда,  
Нам на душу отрадное дохнет,  
Минувшим нас обвеет и обнимет  
И страшный груз минутно приподнимет.

Так иногда, осеннею порой,  
Когда поля уж пусты, рощи голы,  
Бледнее небо, пасмурнее доли,  
Вдруг ветер подует, теплый и сырой,  
Опавший лист погонит пред собою  
И душу нам обдаст как бы весною...

22 октября 1849

Петербург

\* \* \*

О вещая душа моя!  
О сердце, полное тревоги,  
О, как ты бьешься на пороге  
Как бы двойного бытия!..

Так, ты — жилица двух миров,  
Твой день — болезненный и страстный,  
Твой сон — пророчески-неясный,  
Как откровение духов...

Пускай страдальческую грудь  
Волнуют страсти роковые —  
Душа готова, как Мария,  
К ногам Христа навек прильнуть.

1855

\* \* \*

Ты долго ль будешь за туманом  
Скрываться, Русская звезда,  
Или оптическим обманом  
Ты обличишься навсегда?

Ужель навстречу жадным взорам,  
К тебе стремящимся в ночи,  
Пустым и ложным метеором  
Твои рассыплются лучи?

Все гуще мрак, все пуще горе,  
Все неминуемей беда —  
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,  
Проснись — теперь иль никогда...

20 декабря 1866  
Петербург

# Золотой фонд

Стебавоцкэм

№ 2 (15) 2003



## Геннадий Николаев

Родился в 1932 году в г. Новокузнецке. Детские и школьные годы связаны с Новосибирском. Окончил Томский политехнический институт.

Жизненные впечатления послужили основой для литературной работы. Публиковаться начал с 1968 года. С 1970 по 1973 год был редактором альманаха «Сибирь» в Иркутске.

Геннадий Николаев автор нескольких сборников прозы. Его повести и рассказы печатались в альманахе «Ангара», в журналах «Сибирские огни», «Звезда», «Наш современник», «Смена». Для произведений Г. Николаева характерны острые жизненные конфликты. Герои его книг — рабочие, инженеры, жители больших и малых городов.

## ТАНЬКА

Мастер забойного цеха Игорь Макарычев, голубоглазый увалень, провожая после танцев Таньку Стрыгину, молодую рабочую мясокомбината, вдруг сделал ей сердечное предложение. Танька сперва опешила — еще никто никогда не объяснялся ей в любви, — с минуту шла молча, пиная валенком снег по краю тропинки, потом засмеялась и побежала. Он догнал ее, схватил за рукав.

— Не веришь?

— Да ну! — хохотнув, сказала Танька. Ей было приятно и стыдно, и она никак не могла взять нужный тон.

— Не веришь? — Игорь снова дернул ее за рукав.

Танька отвернулась, посмотрела на звезды, ярко горевшие в чистом небе, и покачала головой. Игорь попятился, уселся в снег — шапка свалилась, голова, огромная, лохматая, качалась из стороны в сторону.

— Ты чего! — поразилась Танька. — Чок-перечок? Чего уселся-то? Стегни отморозишь. — Она подобрала шапку, напялила ему на голову. — Кончай, кому говорят!

Игорь развалился на спине, раскинул руки. Танька сказала, что это

уже совсем глупости — валяться в снегу. Игорь лежал молча и, глядя на нее, вздрагивал от напавшей на него икоты. Таньке стало противно, она повернулась и пошла себе домой, как будто никакого кавалера с ней и не было. Уже возле крыльца он догнал ее и попытался обнять. Танька рассердилась, толкнула его и, заскочив в подъезд, в привычной темноте бегом поднялась на второй этаж. Пока она на ощупь вставляла ключ, Игорь успел подняться на площадку, нашарил ее у дверей и крепко обнял. Но Танька была не из тех, кого можно удержать силой — с малых лет таскает ведрами воду, рубит дрова и вообще широкой костью, — крутнувшись, уперлась локтями ему в грудь, рванулась, и ухажер загрохотал, покатился кубарем по ступенькам деревянной лестницы. Танька прыснула со смеху и, быстро открыв дверь, скользнула в квартиру.

И вот она дома, в своей комнате. Сгорбившись, стоит возле темного окна, спиной к свету и, глядя на отражение в стекле, задумчиво грызет ногти. Комод со слониками, бумажные розы вокруг зеркала, узкая койка с никелированными спинками, на стене

коврик с картинкой — олень с олененком на розовом снегу в сказочном лесу; холщовые шторы, скрывающие вход в комнату к родителям, — все это как бы висит перед ней в зимней ночной мути.

«Вот дурень, вот дурень, лег в снег и лежит, — думает она, улыбаясь. — Неужто любит? Такой старый, лет двадцать пять, не меньше. Ищет девушку по себе, чтобы навсегда. Хочет жениться, но я-то не люблю...»

Она печально склоняет голову. Рыжие волосы, распущенные перед сном, закрывают лицо. Она крепко зажмуривается, ей хочется заплакать, но не плачется, а просто очень грустно. Из соседней комнаты доносится ворчливый голос отца: «Татьяна, гаси свет и ложись спать, а то вечно утром не добудишься!»

Таньку берет злость, она нарочно выжидает, словно не слышала. Отец сопит, гыркает, ворочается, наконец не выдерживает и визгливо кричит: «Ну! Слышала?» Танька нехотя поворачивается и, переламываясь в талии, потягиваясь крепким молодым телом, идет и выключает свет.

«Вот занудина, и как только мать с ним живет?» — думает она и начинает раздеваться. Оставшись в одной рубашке, она босиком, скользя по крашеному полу, подходит к окну. Теперь, когда свет погашен, видна улица: темные двухэтажные дома — «клоповники», освещенные тусклым косым светом далекого фонаря; серые, никому не нужные заборы с покосившимися пролетами; голые тополя с комьями снега на ветвях; темные извилистые тропинки, протоптанные среди белой нетронутой целины; обледенелая дорога — две черные, накатанные до блеска полосы.

Танька вздыхает. Кончилось, промелькнуло воскресенье, завтра на работу — скучную, однообразную возню с мясом. В перерывах разговоры про парней, кто с кем, — все давно известно, тоска. Вечером тоже тоска: кино отдыхает — понедельник, на танцы неохота — опять там будет Игорь. Весь вечер придется сидеть дома — ужас! Мама еще ничего, человек, но отец... Мастер в колбасном цехе, полуграмотный, пи-

шет без запятых, слова — по слуху, а держится как бог знает кто, во все нос сует, во все дырки лезет, сознания на трех профессоров хватит. Как начнет читать мораль — пальцем не тронет, от нотаций сдохнешь. И как это получается: ведь мамка красивая была, веселая, да и он тоже, гармонистом на селе, плясуном был — сам рассказывал. А теперь что? Моль чиканула? С ним и мама занудиной становится: все больше хмурая ходит, чуть что — в слезы. То не так, это не этак, обзывается. Попадешь как кур во щи, займешь друга подколодного и сиди с ним всю жизнь, терпи, как он измывается надо всеми в силу своего занудливого характера. Ох, если б знать, кто как портится со временем, чтобы заранее увидеть, предсказать характер, хотя бы лет на пять вперед. Вот здорово бы, посмотрела б в глаза и — раз! — все ясно: этот прохиндей, этот нытик, а этот ничего, добрый и верный. Его-то и подавай, если, конечно, на лицо симпатичный.

Ей вспоминаются сегодняшние танцы в клубе мясокомбината, как она и Люба Лутошкина, задушевная ее подружка, сначала танцевали друг с другом, Танька водила, а тоненькая белокурая Люба партнерила. Потом Любу увел ее воздыхатель, Герка Шурыгин, слесарь-электрик, а Танька несколько танцев стояла у стенки и украдкой поглядывала на переминавшихся в другом конце зала парней. Но нет, никто к ней не подходил. Она вообще редко пользовалась вниманием — слишком грубое, простецкое у нее лицо, широкое, круглое, как блюдо, с круглыми карими глазами, вздернутым носом и большим ртом. Волосы у нее не пышные и густые, как бы ей хотелось, а гладкие, редкие и блестящие, словно медная проволока. Мать говорила, будто в детстве у нее были черные кудряшки, а потом выровнялись и порыжели. На старых фотокарточках она была как куколка — куда все подевалось?! Правда, иногда на нее находило: брала у Любки бигуди, тени, помаду и накручивалась, подкрашивалась, напудривалась, как городская. Любка пялила на нее свои голубые глаза, цокала языком, а Танька не узнавала себя в зеркале, покатывалась со смеху



и боялась выйти на улицу. Вот если б не боялась, так, может, и не стояла подпоркой клубовских стен, а натирала бы пол наравне с другими смазливymi девушками. В общем-то она ведь не смурная, не занудливая — ей только раскаться, а она и смеяться любит, и в карман за словом не полезет, и спляшет тебе так, что каблук напроц, и поет в хоре — вторым голосом поведет, не подпачкает. А когда смеется, Любка говорит, прямо молодеет лет на двадцать — зубки белые, чистые, ровные, по щекам ямки, как у ребеночка, и глаза не такие буркалки, а узенькие, с искорками. Прямо не девка, а ах-ах — первый сорт! А вот раз боишься — стой, подпирай.

Она уже хотела помахать Любе, дескать, пока, целуй бока у старого быка, — помахать и удалиться, но тут вдруг к ней подошел этот Игорь и пригласил танцевать. Ну что ж, она пошла — не торопясь, без ахов и охов, как некоторые, а с достоинством, дескать, не больно-то и хотелось. Они протанцевали пять танцев, и за все пять танцев Игорь сказал десять слов, не больше. Он сказал, что в части, где служил, было не до танцев, потому что они стояли на границе и в ночь да через ночь объявлялась повышенная готовность. И что, дескать, до сих пор ходит невыспавшийся. Танька сказала: «Ага, заметно», но он не обиделся, а только как-то странно хмыкнул и сказал, что давно заметил ее на конвейере. Танька на это сказала, что для нее странно, как это он, все время полусонный, еще может кого-то замечать. Он пожал плечами и вдруг ни с того ни с сего пообещал проводить ее домой.

И вот — проводил. Танька злорадно усмешается, вспоминая, как он гремел по лестнице своими кирзухами, и с горечью думает: «Эх, невезучая я».

Она ложится в постель и долго не может уснуть — ноги как ледяные. Она укрывается с головой, дышит под одеяло, сворачивается калачиком. Ей вдруг вспоминается запах одеколона, которым был сверх меры надушен Игорь, — противный, тошнотворный запах. Что он ей напоминает? Она силится вспомнить, но не успевает — сон смаривает ее.

Утро выдалось ясное, морозное, с полной луной над горизонтом, с яркими, чистыми звездами по всему небу. За ночь подсыпало снежку — свежий, белый, он празднично искрился под светом фонарей на присыпанных тропинках, пушистыми шапками красовался на черных столбах покосившихся заборов.

Танька шла в цех упругой, легкой походкой, ей было тепло и удобно в стеганой телогрейке, шерстяном платке и белых катанках, расхоженных матерью и теперь таких мягких. Она хорошо выспалась, с утра натаскала воды, затопила печку, крепко позавтракала вчерашними беляшами — три штуки навернула с крепким горячим чаем — и теперь шла бодро и весело, чувствуя в себе силу и здоровье.

По желтой дороге, обледенелой и покрытой замерзшими лепехами, гнали стадо в забойный цех. Бычки и нетели, старые коровы и быки бежали торопливой трусцой, понурые и озабоченные. Парок от их частого дыхания вырывался тонкими, прозрачными облачками и, смешиваясь, плыл вместе со стадом.

Таньку всегда удивляло, почему скотина так безропотно и спокойно бежит к месту своей гибели — неужто не чувствуют? Ведь через каких-то двадцать-тридцать минут они уже будут висеть ободранными тушами на конвейере. Таньке было жаль скотину, особенно в эту утреннюю пору, когда день только начинается и впереди целая жизнь, а они... уже не увидят рассвета. Жалость эта копилась-копилась, и постепенно Танька решила про себя, что вот еще день-два, неделя, и она уйдет куда-нибудь в другое место, на какую угодно трудную работу, только подальше от крови, от этих покорных, печальных глаз, от каждодневной жестокой пытки. Она хоть сейчас с радостью бы бросила работу на мясокомбинате, но устроиться в их поселке было не так-то просто. Да и кому она нужна с восьмилетним образованием, без специальности, без диплома. Хотела закончить десять классов, но отец попрекнул как-то куском хлеба, после праздничного вечера в школе, когда она на час позднее пришла с танцев,

вот она и взбрыкнула: ах так, пойду работать, свой хлеб буду есть — не ваш! Как потом мать плакала, умоляла вернуться в школу — нет, упрямая, как необъезженная кобыла: работать, и только! «Ну и правильно, — сказал отец. — Читать-писать умеет, и хватит с нее. Замуж выйти образования не надо. Да и с образованием-то трудней мужа найти, привередничать будет: тот глуп, этот туп, а с простым и жизнь проще. Правильно, трудиться надо». Вот и трудится — два года промелькнули. Другие уже получили аттестаты, еще весной разъехались кто куда — кто в институт, кто в армию, кто в техникум подался, а она да Люба, тоже невезуха, вдвоем так и вкалывают на комбинате — чтоб он сгорел! И почему обязательно надо есть мясо? Живут же люди по прозвищу вегетарианцы, едят только зелень: траву всякую, овощи, фрукты. Разве мало у нас земли, чтобы выращивать на всех картошку, капусту, свеклу, морковь? Подсолнухи — тоже вещь: масло можно давить — чем плохое масло? Почему обязательно надо заниматься животодством?

Ее кто-то стукнул по плечу, обернулась — Игорь!

— Здорово, невеста! — он крепко взял ее под руку.

Танька решительно, резко отстранилась.

— Чего? Не выпался?

— А че?

— Ниче. Не засватана.

— Ну?

— Загну!

— Учтем. Вечером жди.

— Ага, приходите в шесть часов, нас как раз дома не будет.

— Смотри ты, говорунья. Я же серьезно.

— А я что? Прямо падаю от смеха.

Они подходили к проходной. Игорь тронул Таньку за рукав и, кашлянув, сказал:

— Татьяна, погоди два мига.

Она остановилась вполоборота к нему, будто и не с ним стоит, не с ним разговаривает.

— Ну?

— Ты же меня знаешь, не трепло, не пьяница. Семью надо заводить. Че-

ловек ты хороший, самостоятельная девушка. Ну и... вот такие пироги.

Танька стояла, пиная валенком снег, чувствуя, как бьется от волнения сердце и разгораются жарким огнем щеки. Она искоса посмотрела на него и вздохнула про себя: «Эх, остопоп! Ты-то мне вот ни капельки не нравишься...»

— Ну и что с того? — сказала она. — Это твои такие пироги, а мои, может, совсем другие.

— А твои пироги какие? — растерянно, с опаской спросил он.

— Ишь ты, шустрый какой! То сонный ходит, то как наскипидаренный. Видно, и пироги твои такие: то недожаренные, то угольками.

— Чего мелешь? Чего закавыками такими говоришь? Тут разговор про жизнь — жениться на тебе хочу, дура! — а она про пироги.

— Между прочим, еще не жена, дур мне не насовывай, а то вообще в упор тебя не увижу. Понял?

Она рубанула воздух своей маленькой крепкой рукой в варежке и, вскинув голову, пошла к проходной. Он с досады хлопнул себя по бедру, плюнул в снег, кинулся вслед за Танькой. Она уже шла по территории с поджатыми губами, с глазами круглыми, немигающими, нацеленными прямой наводкой в цеховые ворота. Он догнал ее, загородил дорогу.

— Ты че? Я ж по дружбе, так, без умысла.

Танька подождала, пока он высказывался, потом молча обошла его, как дерево или бетонную конструкцию, которую не своротишь, и, обернувшись, ушла в свой цех. Игорь потоптался-потоптался возле ворот и, махнув рукой, повернул в забойный.

Вечером Игорь заявился к Таньке домой с дружком своим Васькой Пятуниным, киномехаником поселкового клуба. Отец Таньки, Макар Игнатьевич Стрыгин, сидевший на кухне в нательном белье и читавший от корки до корки журнал «Политическое самообразование», услышав мужские голоса в прихожей, тотчас высунул свою круглую плешивую голову.

— Макар Игнатьевич, до вас, здрастье! — торопливой скороговоркой ска-

зал Васька, низенький крепыш, курносый, улыбочивый, одногодок Игоря.

Оба они с шапками в руках переминались с ноги на ногу, уместаясь на половичке у порога. Танька дернула головой, отчего тоненький рыжий хвостик на затылке мотнулся, фыркнула и, окинув гостей круглым глазом, ушла в комнату. Макар Игнатьевич вышел из кухни, высокий, тощий, с выпирающими ключицами, жилистой шеей и тонкими руками — хоть почти всю жизнь на мясе, видно, из такой породы, что, как говорят, не в коня корм.

— Слушаю, молодежь. По какому вопросу? — осведомился Макар Игнатьевич, поддериная кальсоны.

— По личному, — мигнув на Игоря, ослабил Васька. — Как говаривали в старину: у вас — товар, у меня — покупатель. — И Васька осторожно, медленно, держа двумя пальцами за горлышко, вытянул из бокового кармана бутылку водки.

— Ага, — только и сказал Макар Игнатьевич, смущенно закашлявшись. Он похлопал себя по груди и сказал ребятам, чтобы раздевались и проходили в комнату, а сам юркнул на кухню.

Парни сняли полушубки, разулись и в носках, на цыпочках — Васька впереди, за ним Игорь — прошли в комнату. Посередине, под розовым абажуром, стоял круглый стол, накрытый полиэтиленовой скатертью с зелеными полустертыми розами, четыре стула с матерчатыми спинками аккуратно приставлены по четырем сторонам стола. Вход в другую комнату был задернут вышитыми шторами — они покачивались, словно там кто-то прятался.

Васька, шутливо прицелившись, опустил бутылку в центр стола. Игорь, покосившись на шторы, вытащил из кармана вторую бутылку и поставил ее рядом с первой. Васька удивленно присвистнул и покачал прилизанной головой. Игорь посмотрел на него с упреком. Оба они были в новых костюмах, в белых рубашках и галстуках. Игорь чуть-чуть выше Васьки, но куда шире — и в плечах, и в лице.

Из кухни выглянул Макар Игнатьевич с растерянным красным лицом и замахал своими болтающимися ру-

ками — парни поняли, что им предлагают сесть. Они отодвинули стулья. Хозяин закивал горячо, одобрительно и, пробормотав что-то в смущении, странной припрыжкой, на цыпочках пронесся к шкафу. Набрав ворох одежды, он снова упрыгал на кухню. Наконец, после возни, какого-то стуканья и ворчания, он появился одетый по всей форме — в костюме, в серой мятой рубашке и при галстукке. Вслед за ним важно вошел большой трехцветный кот и стал тереться об ноги с хриплым рокочущим мырканьем. Макар Игнатьевич строго прищипнул на кота, словно тот был собакой, но тут же забыл про него и сел за стол, скрестив свои длинные руки на груди.

— Богатый у вас котик, — сказал Васька, приподняв кота за передние лапы и дунув ему в морду.

— Да, кот передовой, — охотно заговорил Макар Игнатьевич. — По мышам прям рекордист, две нормы за смену заколачивает.

Парни загоготали. Макар Игнатьевич зябко посмеялся и продолжал.

— Не жрет только — для забавы ловит. Поиграет-поиграет, прижухнет и бросит, а она, зараза, оклемается — и деру. Прям хоть ходи за ем и подбирай. Фаршик говяжий ест чуть обжаренный и боле ничего. Ишь, фон-барон какой, а ну пшел! — гаркнул Макар Игнатьевич и погрозил коту двумя руками враз.

Кот присел и, видно, решив держаться подальше от хозяина, уплелся на кухню.

— Что, мышей много? — спросил Васька.

— Навалом, — махнул Макар Игнатьевич. — Чего-чего, а этого добра хоть на экспорт. Но читал в одной книжице недавно, волки, оказывается, питаются мышами, кушают за мое почтение. И никаких оленей им не надо, на мышах сидят, а олени — так, по большим праздникам.

— А есть собаки-мышеройки, — сказал Васька.

— Есть, — согласился Макар Игнатьевич. Он вдруг заметил, что на столе стоят две бутылки водки. Руки его взметнулись, он энергично почесал за ушами. — Хо-хо-хо! Одна еще куда ни шла, но это, — он замахал перед

лицом, словно отгонял комаров, — не по технике безопасности.

— Лодка по суху не ходит. Два весла, две руки, два глаза, две ноги, — хохотнув, протараторил Васька.

Игорь сидел красный, неловкий, как бы оцепеневший от надобности что-то сказать, вообще заговорить. Он только сжимал свои кулачищи и все не мог найти им место — то клал на стол, то прятал на колени, то вдруг совсем нелепо подпирал ими бока, принимая лихую позу добра молодца. Лоб его в глубоких морщинах был покрыт потом. В поту был и нос — крупный, мясистый, с горбинкой.

Макар Игнатъевич почти не глядел на Игоря и весь разговор вел с Васькой, но время от времени его острый прищуренный взгляд нет-нет да и впивался на миг в млеющего жениха. Он как бы снимал его на нутрянную пленку памяти, чтобы потом все кадры собрались воедино, прокрутились и сам собой, волшебным образом определился бы тон его отношения к будущему зятю.

— Татьяна! — вдруг крикнул Макар Игнатъевич и прислушался, вытянув тонкую шею.

— Чего? — глухо раздалось в соседней комнате.

— Поди сюда, — строго сказал Макар Игнатъевич.

— Ну? — Шторы заколыхались, но Татьяна не вышла, осталась за ними.

— Дай-ка нам закусить, — попросил Макар Игнатъевич, — капустки, огурчиков, бруснички. Колбаски нарежь разной. Стаканчики не забудь. Люди пришли, не видишь?

Танька шагнула из-за штор резко, внезапно и прошагала вдоль стены быстрыми, мелкими шажками, как бы механически, со строгим, твердым лицом и пустыми глазами.

Макар Игнатъевич закурил. Гости тоже потянулись за папиросами. Тяжелая, томительная тишина воцарилась в комнате. Васька нашарил под столом ногу Игоря и пнул по ней. Игорь вздрогнул и, словно очнувшись от дремы, сказал:

— Позавчера в картину ходил, «Тайна фермы» какой-то. Не видали?

Макар Игнатъевич мельком взглянул на него и кивнул Ваське:

— Мура. Чему мы молодежь научим от такой картины? Кулак, частный собственник, убил людей — кто такие, непонятно, — следователя околпачил, суд обманул и кругом хороший. У него и дети такие же стервецы. А вообще-то разложение буржуазного класса демонстрируется наглядно. — Он разогнал перед собой табачный дым и снова обратился к Ваське: — А про тебя говорят, будто ты девок в будку водишь, прям во время сеансов. — И добавил уже без всяких сомнений: — Это нехорошо.

— Вот люди! Вот люди! — изображая искреннее возмущение, закричал Васька. — Я вожу! В будку! Во дают! Во-первых, не вожу — они сами ходят. А во-вторых, чего с ними в будке делать? Стрекот, жара, иной раз дымку поддает, да и неудобства. Что, хаты нет, что ли? Я, Макар Игнатъевич, с этим делом завязал: уже десять раз мог бы жениться и развестись, а все держусь. Вот, дружка отдам, тогда и сам. Верно, Игореха?

Игорь засмеялся — хрипло, отрывисто. Вслед за ним засмеялся и Макар Игнатъевич — тоненько, елеино.

— А что? Не найдется для меня невесты? — закричал Васька, оглядываясь по сторонам, словно отыскивая того, кто скажет: «Нет, не найдется». — Вот ты скажи! — ткнул он в Таньку, вошедшую из кухни с тарелками.

— Я тебе не справочное бюро, — отбрила его Танька. — И вообще, — она побуравила глазами отца, — неинтересные мне эти разговоры.

— Ладно, ладно, — проворчал Макар Игнатъевич. — Сала нарежь и луку.

Она принесла сало и лук и, когда ставила на стол, наклоняясь, невольно приблизилась к Игорю — от него шибануло в нос острым противным запахом цветочного одеколона. Ее всю передернуло от этого знакомого и забытого запаха, она торопливо, кое-как расставила закуски и засобиралась уходить.

— Ты куда? — спросил Макар Игнатъевич.

— К Любе, — ответила она из прихожей.

— Правильно, поди проветрись.

Макар Игнатъевич разлил водку, покакуртнее разместил на столе тарелки



с закусками, разложил вилки и, когда хлопнула за Танькой дверь, поднял стакан:

— Хоть я вас и знал раньше, но все ж таки были не очень знакомые. Теперь вот, как говорится, с визитом — личный контакт будет. Ну, за знакомство!

Парни чокнулись с ним по очереди, сначала — почтительно Игорь, за ним — весело Васька. Все трое выпили и торопливо закусили — так, не для еды, а лишь бы сбить жаркий сивушный дух во рту.

— Вашу Татьяну мы знаем и уважаем, — Васька прижал руки к сердцу и по-театральному отвесил полупоклон, чуть приподнявшись из-за стола. — Девушка серьезная, ни с кем не ходит, не красится, не мажется, ноги не заголяет. Работящая, чистоту любит. Сготовить может, гостей принять. И вообще, видная девушка.

Макар Игнатьевич кивнул.

— Я хоть и отец, а худого о ней ничего не скажу, — важно, с гордостью сказал он и, переждав чуть-чуть, добавил с кривой усмешечкой: — Конечно, кто гонится за вывеской, с тем разговора у меня нет и быть не может.

Теперь кивнул Игорь, а Васька сказал:

— А нам вывеска и ни к чему. На вывеску-то больно много охотников. А потом, если что, об нее посуду бить?

— Мудро! — подумав, изрек Макар Игнатьевич. — Это и моя психологика. Я так думаю: красивую не для жизни — для мороки берешь. У красивой об себе возвышенные претензии: то ей под глаз не идет, то не по фигуре. Знаю, вон, дружки фронтовые, оба на красотках поженились, жизнь промелькнула, теперь такие страхолюдины, а претензии, как и раньше. Умора!

Макар Игнатьевич налил снова, и Васька тотчас поднял свой стакан.

— Давайте мы выпьем за хорошего человека, который родил и воспитал хорошую девушку Татьяну, какую мы ее знаем теперь и верим в ее хорошую душу. За вас, Макар Игнатьевич!

Макар Игнатьевич благодарно поскреб свою впалую грудь и, блестя глазами, уже прямо и откровенно разглядывал Игоря. Игорь, с красными

ушами, взлохмаченный, улыбающийся, расхрабрился настолько, что не вытерпел и сказал вроде бы Ваське:

— Я Макара Игнатьевича по работе знаю. Образец для коллектива.

Стараясь как бы доказать справедливость своих чувств к Макару Игнатьевичу, Игорь одним махом, без передышки выпил стакан водки и только крякнул, обтерев губы ладонью.

Макар Игнатьевич гордо и одобрительно улыбался. Его круглая плешивая голова покачивалась на тонкой шее, глаза чуть не слипались, до того он щурился, и вообще весь он был похож на китайца, что когда-то, в прежние времена ходили с торговыми лотками.

Ни гости, ни хозяин почти ничего не ели — есть было некогда, надо было говорить. Говорили не торопясь, не перебивая друг друга, говорили двое: Макар Игнатьевич и Васька. Как два солиста на каких-то странных соревнованиях, выступали они друг перед другом — едва замолкал один, начинал другой. Наконец Васька повел речь о «покупателе товара» и тут уж не пожалел красок: Игорь у него был и верным другом, и славным воином-пограничником, и добрым сыном для матери, и серьезным хозяином, имеющим свой дом, огород, корову, не говоря уж о всякой мелкой живности. Были вынуты и разложены перед Макаром Игнатьевичем справка из школы о восьмилетнем образовании, приказы по части с благодарностями рядовому Макарычеву за отличную службу, грамоты с производства, сберкнижка с круглой суммой — 800 рублей. Когда во второй бутылке осталось меньше половины, а Макар Игнатьевич начал перечислять вещи, какие даст за дочкой, хлопнула входная дверь и из прихожей донеслось: «Макар!» Макар Игнатьевич посмотрел перед собой пьяными радостными глазами и громко, громче, чем следовало, прокричал:

— Мать! Гости дорогие у нас!

Жена его, Вера Прокопьевна, выглянула из темной прихожей, сощурилась на свет и, узнав парней, насмешливо протянула:

— Чево? Дорогие? Смотри ты, драгоценности какие!



Она засмеялась, и слова и тон ее сошли за шутку. За столом тоже рассмеялись. Она сняла пальто и вошла в комнату, низенькая, румяная толстушка, круглолицая, с рыжими гладкими волосами, веснушчатая, белозубая и кареглазая. Она работала бухгалтером на мясокомбинате и нередко допоздна задерживалась на работе.

Макар Игнатьевич весело взмахнул руками, как бы исполнил ими какой-то замысловатый танец.

— Стакан тащи — дочь сватают!

Вера Прокопьевна сделала вид, будто вроде бы удивилась, но тут же придала лицу выражение, которое можно было истолковать только так: «Ну что ж, и наша дочь не хуже, чем у других». Она почти так и сказала:

— Ну что ж, давайте знакомиться, коль пришли.

Игорь поспешно поднялся, скрежетнув стулом. Лицо его пылало. Потупившись, он усиленно тер ладонь об ладонь и сипло покашливал. Рядом с ним вскочил Васька:

— Мой друг, Игорь Андреич Макарычев, славный мастер забойного цеха.

— Да уж знаю, знаю, каждый месяц дважды зарплату выписываю, — журчащим, ненатуральным голосом сказала Вера Прокопьевна. — Мы, бухгалтерские, хоть вас и не видим, а все про каждого знаем. — Через зарплату все видать, весь человек как на ладони.

— Ну и чего там про него видно? — шутливо спросил Васька.

— Ну, что видно? Видно, что серьезный парень: исполнительных листов нет, премии каждый месяц, без удержания, идут. Не прогульщик — вычетов нет. А по рационализации ни разу не получал. Налог за бездетность вычитают. Вот вам и анкета. Не так, что ли?

— Ага, ага, — закивал Игорь.

Она подала руку, он стиснул ее так, что Вера Прокопьевна ойкнула.

— Хороший парень! — хлопнув по столу, решительно сказал Макар Игнатьевич. — По всем статьям!

— О-о-о, — пропела Вера Прокопьевна, изобразив удивление, словно только что увидела мужа, — а ты уже хорош.

— А как же! Я всегда хороший, — он снова потанцевал руками. — Давай стакан, выпьешь с нами.

— Ну уж по такому случаю...

Она сходила на кухню, принесла граненую рюмочку. Ее стали уговаривать выпить из стакана — побольше, но она твердо отказалась, и ей налили в рюмку. Остатки водки выпили за матерей. Поговорили о погоде, что не было еще настоящих морозов, о том, что меньше стали пригонять скота на комбинат, что не дают ему отдохнуть, поправить вес, а гонят без пересадки в забой, что неинтересные картины стали завозить в клуб — о том о сем, и парни поднялись из-за стола. Макар Игнатьевич пошатывался и глядел осоловело. Игорь ступал твердо, на всю ступню, движения его сделались угловатыми, резкими, и он то и дело сильно тер ладонь об ладонь, словно старался стереть с них приставшую краску. Васька блаженно улыбался и заплетающимся языком бормотал про то, какие Стрыгины хорошие люди и что он тоже завяжет с холостой жизнью.

Когда гости ушли, Вера Прокопьевна устроила мужу подробный допрос и постепенно, не без труда, вытянула из него все, о чем они тут без нее говорили. Макар Игнатьевич куражился, ломал дурака, канючил еще выпивку, говорил, что дочь его и, за кого он пожелает, за того и отдаст ее. Вера Прокопьевна постелила постель и прикрикнула на него, чтобы ложился спать, но тут пришла Танька, и Макар Игнатьевич разошелся пуще прежнего. Он вдруг стукнул кулаком по столу и закричал:

— Татьяна! Поди сюда!

Танька показала в дверях и, сокрушенно вздохнув при виде пьяного отца, ушла на кухню, где мать мыла посуду. Макар Игнатьевич явился вслед за ней и, привалившись к косяку, помахал руками.

— Ты на меня не вздыхай, выпил недаром. Дело такое... Танька! — крикнул он визгливо. — Бутылку должна поставить отцу. Мужика тебе нашел! Благодарить должна, а но вздыхать.

— Ага, сейчас, разбежалась, — насмешливо огрызнулась Танька.

— Да, спасибо! — задиристо сказал Макар Игнатьевич.

— Всю жизнь мечтала.  
— Дура ты! Ничего ты не понимаешь.

— На это понятия хватит. Сам же говорил — ума не надо. Уж как-нибудь, когда надо будет, сама найду.

— Чего искать? Сам пришел. Чем плох?

Макар Игнатьевич катался спиной по косяку, казалось, вот-вот он соскользнет и рухнет на пол, но он каким-то чудом удерживался на ногах, еле ворочая языком.

— Чем плох? Не алиментщик. Трудыга.

— Ну ладно, хватит, иди спать, — вмешалась Вера Прокопьевна. Она вытерла руки об фартук и, крепко взяв мужа за локоть, увела в комнату.

Почувствовав твердую власть жены, Макар Игнатьевич сразу скис, размяк, как послушное дитя, разделся и улегся в постель. Вскоре он захрапел на всю ивановскую.

Разговор начался без надрывного усилия, как бы сам собой.

— Ишь, обрадовался, — вроде бы сердито проворчала мать, вернувшись на кухню.

— Чему радоваться-то? — сказала Танька.

— Дак я и говорю, — согласилась мать.

Танька внимательно посмотрела на нее — мать выдержала взгляд и, обняв Таньку, вздохнула:

— Эх, невеста, невестушка ты моя.

— Мама! — воскликнула Танька. — Мамочка! Я не хочу замуж. Не хочу!

— Доченька! Да кто ж тебя заставляет? Господи! Не хочешь, не ходи.

— Да, вон отец уже решил за меня.

— Никто ничего не решил, — строго сказала мать.

Они сели за стол. Вера Прокопьевна достала из шкафа мешочек с кедровыми орехами и сыпанула горкой на стол, прямо на клеенку. Орехи были свежие, осеннего сбора, крупные, чистые, чуть прикаленные для сухости. Вера Прокопьевна принялась щелкать — быстро, аккуратно, деловито, Танька сидела насупившаяся, с красными глазами. Вера Прокопьевна придвинула ей орехи:

— Танюша, выше нос!

Танька вдруг упала головой на стол и разрыдалась.

— Ну вот, — недовольно сказала мать, отшвырнув орехи в кучу. — Чего ты? Никаких причин нет реветь.

Она подождала немного в надежде, что дочь успокоится, но Танька все каталась головой по столу и всхлипывала. Тогда материнское сердце смягчилось, и Вера Прокопьевна обняла Таньку, горячо прижала к себе.

— Ну, ну, глупышка, чего же ты реवेशь? Ну, успокойся, дурочка, никто тебя не тронет. Ну..

Танька затихла в ее руках, обмякла.

— Мамочка, давай уедем отсюда, — хлюпая носом, сказала она.

— Уедем? Куда? — тусклым, равнодушным голосом спросила мать.

— Хоть куда. Прошу тебя, умоляю.

— Куда ехать-то? Зачем?

— Не могу тут. Тоска. Скотину жалко. Мне уже телочки по ночам снятся. Не могу видеть эту кровь, мясо. Давай уедем.

— Не говори глупости, — мать отстранилась от Таньки — глаза строгие, чужие. — Тут родина, работа, квартира вон какая. Да и отца не отпустят.

— Подумаешь, незаменимый! — фыркнула Танька.

— А чего? Ты отца не суди, мала еще. Он хоть и задиристый, а работает честно. Уважают его, считают.

— А я тут жить не могу! — точь-в-точь как отец, взвизгнула Танька. — Обо мне-то ты почему не думаешь?

— Думаю, и об тебе думаю, — возразила мать. — Вон нынче позвонили из промтоваров, предупредили — кофточки поступили, импортные, японские, по сорок пять рублей. Попросила отложить твой размер. Завтра сходим в перерыв, посмотрим. Шаль тебе свою подарю, маленькая была, все примеряла. Туфли новые купим. Будешь у нас не хуже других.

— Я с комбината хочу уйти, — проворчала Танька. — Сил моих уже нету.

— А как же другие?

— Другие могут, а я не могу.

— Ишь ты, фря какая! — мать засмеялась, и снова ее грубоватый тон и обидные слова сошли за шутку.

— Да, фря! — воскликнула Танька. — Они когда недобитых режут,

знаешь, как те кричат. У меня прямо мороз по коже.

— Привыкнешь.

— Ага, привыкну. Сама живодеркой стану.

— Ну а как же, доченька? Зачем же скотину держат? На молоко да на мясо. Вон и постановлений сколько по мясу — все больше и больше требуют. Так что ты не права. Ну если уж так противно, давай подыщем другую работу. Только у нас не очень-то разбежишься. Нянечкой в больницу? Или уборщицей куда-нибудь? Тоже не ахти какая работа.

— Согласна хоть куда, только не здесь.

— Ну, давай завтра поговорю с главврачом, может быть, что и найдется. Ну, ну, поди умойся, а то, говорят, от слез ранние морщины бывают.

— А мне начихать, — сердито и упрямо сказала Танька.

— Не скажи. Теперь тебе надо следить за собой.

— С чего это — теперь следить?

— Как же, засватанная. Сходи завтра прическу сделай. Может, завьешься?

— Ой, мама, и ты туда же?

— А что? Время, доченька, время твое подходит. Мы стареем, ты в невесты выходишь. Тут уж ничего не попишешь, в природе так заведено. И нечего тут стыдиться, нечего возмущаться. Раз пришел жених, какой он ни есть — не выгонишь. Принимай да разговаривай, потому как в наше время женихами не разбрасываются. Вот так, доченька моя родная. Мы с тобой бабы, можем говорить без секретов, прямосердечно. Сколько по миру баб мыкается безмужних — думаешь, легко им? Эге! Я-то знаю. Сама до двадцати восьми годков в девках ходила — женихи мои все на полях полегли, по всей Европе косточки разбросаны. Отец-то на целых восемь лет старше меня, и ничего, пошла, потому как другие только кобелировали, а отец — нет, пришел честь по чести к маме с папой, вот, я такой-сякой, немазанный-сухой, была семья — раскатилась, жена не дождалась, с уполномоченным спуталась, отставку ей дал. А я ему понравилась строгостью и неподступностью. Вот видишь, кто кого за что любит, за

что уважает. Я тоже привыкла к нему. Шумливый, порой смурной, поговорить любит, но зато не обманет, копейки не пропьет на стороне, пальцем не тронет, доброту свою имеет. Вот так, Танюшка. Жизнь, она только в книгах да в кино по любви устроена, а в натуре зачастую на привычке да на взаимном уважении держится. А хорошего человека и полюбить недолго. Ну, что ты хмуришься?

Танька сидела молча, надув губы, глядя на ползавшего по полу таракана. Кот, растянувшийся вдоль печи, лениво следил за ним, видно, животина эта забавляла его, но не настолько, чтобы кидаться за ней из теплого местечка. Таньке было грустно, тоскливо. Как-то по-новому остро, щемяще сжималось сердце. Мать не понимает ее, это точно, думала она. Мать тут приросла — к этому месту, к этому противному мясокомбинату, к этим голым сопкам, к этим ветрам, к этому серому, унылому поселку. А ей, Таньке, хочется иной жизни, хочется поехать по свету, побывать в Москве, на юге, увидеть море, походить по тайге, слетать на самолете куда-нибудь. Ведь она даже не видела «живого» самолета — в кино только да по воображению из книжек. Но главное не в этом — в другом. Она думает про Николая Лутошкина, Любиного брата, студента геологоразведочного факультета, и он встает перед ее глазами стройный, белокурый, улыбающийся, с такими же, как у Любы, голубыми глазами. Он всегда был ровен и мягок, вечно подшучивал, смеялся, со всеми был по корешам, никого не выделял ни любовью, ни ненавистью. Никто не знал, даже Люба, закадычная подружка, что всю жизнь, как помнит себя, Танька любила Колю Лутошкина. И теперь, думая о нем, Танька живо вспоминала, собирала по крохам события жизни, когда она была с ним рядом.

Вот они, еще совсем пацанятами, всей поселковой оравой бегут сломя голову из песчаного карьера от разворошенного свадебного клубка змей. Они мчатся в ужасе, в дикой панике, и Танька вдруг запинаясь, падает и разбивает в кровь нос. Все, кроме Кольки, уносятся вперед, лишь он

один возвращается к Таньке, помогает встать, отряхивает пыль, вытирает ей нос. И никаких, оказывается, змей нет, никто за ними не гонится. А руки у Кольки, оказывается, мягкие и добрые, и когда он притрагивается к ней, по телу пробегают приятные мурашки,

Или вот день рождения Любы, ей исполнилось шестнадцать, а Колька уже собирается в институт. Гуляли у Любы — пили домашнее пиво с изюмом, играли в испорченный телефон, танцевали под радиолу. Потом стали крутить бутылочку, и три раза кряду выпало Кольке Лутошкину целовать Таньку Стрыгину. Первый раз он поцеловал ее в лоб, второй раз — в щеку, а третий — в губы. Таньке показалось, будто вспыхнул яркий свет и грянул оркестр. И тут Колька еще раз, сверх программы, поцеловал ее в губы. Кругом засмеялись, захлопали в ладоши, а Танька, покачиваясь, вышла из круга и, как охмелевшая, закрыв руками рот, выскочила на крыльцо, под пляшущие ночные звезды, под шальной весенний ветер.

Были и другие, мелкие события будничной жизни: встретились на улице, поговорили о том о сем, но главное не то, о чем говорили, а то, как он подошел, как посмотрел, как улыбнулся. Таких встреч великое множество — не перечесать, но каждая, по-своему интересная, хранилась в Танькиной памяти бережно и любовно. Как-то ходили в кино, он сел рядом, и всю картину его нога касалась ее ноги. О чем была картина, она не могла вспомнить... Или вот: как-то летом играли на пустыре в мяч, пасовались. Подошел Колька и весь вечер подавал только ей. И все смеялся: я, говорит, тебя, Стрыгина, для сборной Союза тренирую... Уехал в институт в областной центр, два года не появляется, пишет: летом — практика, зимой — денег нет туда-сюда раскатывать. До магистральной станции двое суток, да от станции ветка — сто с лишним километров, поезд раз в сутки ходит. Да разве деньги и трудности в пути помеха! Кабы что-то было у него к ней, без денег бы добрался и времени бы не пожалел. Вон как у людей бывает: мужьев-жен бросают, моря-горы пересекают, пустыни ползком переползают,

ядом травятся, на кострах горят. «Эх, невезучая я!» — думает Танька. Ей становится еще горше, но тут она вспоминает последнее письмо от Николая, которое на прошлой неделе читала ей Люба, и слабая надежда снова начинает теплиться в ней — ведь никого больше не вспомнил Николай в поселке, а ей, Таньке, — персональный привет! «К чему бы это?» — тягуче и устало думает Танька. Она уже не в силах бороться с дремотой, и мать, задумчиво щелкавшая орехи, вдруг говорит:

— Да ты же совсем спишь! Иди-ка ложись, доченька. Утро вечера мудренее.

Танька сладко зевает, целует на прощанье мать и, сонная, бредет в свою комнату. Мать расстилает ей постель, помогает стянуть тесное платьишко, и Танька без сил валится на кровать. Мать укрывает ее, подтыкает с краев одеяло, гасит свет. Танька уже спит.

С этого вечера Танькина жизнь наполнилась тревогой и ожиданием. Игорь ежедневно попадался ей на глаза и всякий раз пытался заговорить, но она убегала со страхом и смутением на сердце. Родители помалкивали насчет замужества — ждали. Но что-то вокруг нее и в ней самой, она это чувствовала, менялось с каждым днем. Мать купила ей обещанные кофту и туфли, отец перестал кричать и однажды ни с того ни с сего дал десятку, чтобы купила себе что понравится. Да и сама она почему-то не противилась ни этим внезапным и щедрым подаркам, ни странному, непривычному вниманию родителей.

Наконец настал вечер, когда заявился Васька Пятунин — как поняла Танька, за ответом. Ей стало противно. Она тотчас оделась и, несмотря на ворчание матери, ушла к Любе.

Вернулась поздно. Опять не выспится, зато наговорилась вдоволь, душу отвела — такая уж Люба подружка, все понимает, всегда готова помочь. И поговорили, и песни попели, и на картах погадали. Люба тоже советует не ждать синицу в небе, она б и сама вышла хоть сейчас, да никто не берет. Герка Шурыгин, школьный воздыхатель, все норovit пообниматься в темных углах, а до серьезного шага кишка тонка. А других



парней просто-напросто нет, не то что в городе, где можно иметь выбор...

Дома было накурено, пахло вином, жареным мясом и одеколоном.

— Принесла нелегкая! — проворчал отец, лежавший под одеялом с газетой в руках.

Мать гремела посудой на кухне. Танька подошла к ней сзади, обняла за плечи. Вера Прокопьевна вздрогнула, отшатнулась.

— Господи! Напугала-то как! Задумалась, стою, а ты — разве можно так?

И в голосе ее, и во взгляде не было обычной теплоты — голос звучал сухо, глаза смотрели как на чужую.

— Что так поздно? Где была?

И, не дав Таньке ответить, быстро сердито проговорила:

— Должна тебе сказать, Татьяна, так не делают. Ты уже не ребенок. Пришел человек — по серьезному делу, за ответом. А ты — как маленькая или дурочка, не пойму.

— А чего они ходят? Не люблю его — сказала! — Танька упрямо надула губы, исподлобья уставилась на мать.

— Чего ты на меня уставилась, как ревизор? На себя посмотри! — Мать закипала, у нее мелко дрожал второй подбородок, глаза округлились, а губы стали тонкими и синими.

Из комнаты выскочил отец.

— Чего ты парню молчишь? — закричал он с ходу. — Он к тебе как человек, а ты?

— Ишь, «не люблю», — продолжала мать. — Любовь ей подавай! Об жизни надо думать, а не глупостями заниматься. Полюбишь!

Танька стояла в углу, растерянно глядя на мать.

— Не привередничай! — взвизгнул отец. — Мать правильно говорит. Посмотри на себя — страхолюдина!

— Макар, Макар, — опомнилась мать.

— Пусть спасибо скажет, что пришел по-хорошему, по-человечески. Другой бы помусолил-помусолил да выбросил.

Танька часто-часто заморгала, слезы покатались по ее красному с мороза лицу.

— Что вам от меня надо! — со злос-

тью, с болью выкрикнула она. — Избавиться от меня торопитесь, да? Так и скажите! И я уйду, уеду куда-нибудь. Так и скажите...

Родители переглянулись. Вера Прокопьевна осуждающе покачала головой и сделала глазами мужу знак удалиться. Он расслабленно махнул рукой и, бормоча как старик, ушел в комнату. Вера Прокопьевна закрыла дверь. Танька плакала навзрыд, она близка была к истерике. Вера Прокопьевна налила воды и придвинула кружку Таньке.

— На-ка, выпей да успокойся. Никто тебя насильно не заставляет. Как хочешь.

Она заморгала точь-в-точь как Танька, порывисто обняла дочь, прижала к груди и разревелась вместе с ней. Так они выли и раскачивались, хлюпая мокрыми горячими носами, бормоча что-то бессвязное — каждая свое, не слушая друг друга, выплакивая обиду и горечь своей замкнутой жизни.

Уже поздно ночью после долгого сердечного разговора с матерью согласилась Танька подумать и дать твердый ответ не позднее, чем через две недели — ровно столько, как вывела в уме Танька, надо было, чтобы почта сходила до областного центра и обратно.

На другой день, в перерыв, Танька выманила Любу из столовой (сама она бегала обедать домой) и, краснея от стыда и смущения, попросила ее сегодня же, безотлагательно написать Николаю письмо, в котором промежду прочим говорилось бы про нее, Таньку, что ее, мол, усиленно сватают, но она не мычит, не телится, тянет резину, хотя парень, который сватается, вполне ничего. И пусть Николай срочно-пресрочно вышлет ответ и напишет, думает ли приехать к Новому году. И непременно — привет от Таньки Стрыгиной и самые наилучшие пожелания здоровья, успехов и счастья в личной жизни.

— Ой, Танюшка! — только и сказала Люба, внимательно, с интересом глядя на подружку.

Танька сжала ей руку и, сдерживая готовые вот-вот вылиться слезы, тихо попросила:

— Вечером напишешь, ладно?

— Ой, конечно! Но как же ты так?



И давно? — в голосе Любы звучали и жалость и удивление.

Танька кивнула опущенной головой и вдруг, сорвавшись с места, кинулась бегом из столовой.

Ответ от Николая пришел на удивление быстро. Как всегда, это был один тетрадный листок, исписанный с обеих сторон аккуратным почерком. Николай писал, что учеба его идет нормально, что на носу зачетная сессия, что зимой приехать не сможет, но летом нагрывает наверняка, потому что удалось определиться в партию, которая шарится в здешних местах. Еще он спрашивал, что купить матери и Любе, теперь он стал богачом: наконец-то им заплатили за летнюю практику, сразу за три месяца, и он приобрел себе костюм и туфли. В конце письма шли строки, которые Танька запомнила наизусть:

«..Татьяне привет! Передай ей, пусть никого не слушает, а решает сама. Если нравится Игорь, пусть выходит за Игоря. Если не нравится, пусть посылает всех к черту. Надо быть хозяином своей жизни, а то мы сами загоняем себя в рабство обстоятельствам. Лично я не женюсь, пока не обойду земной шар трижды. Желаю ей счастья...»

До последнего срока, когда надо было давать ответ, оставалось три дня. «Уехать, уехать», — тоскливо ворочалось в Танькиной голове. Но куда ехать и как это сделать, она не знала. Вечером она пошла к Любе за советом, но только наревелась вдоволь с подружкой, а никакого выхода не придумала. Люба еще больше запутала ее и напугала своей рассудительностью. Ведь чтобы уехать, рассуждала Люба, надо знать, куда ехать, надо иметь там родных или знакомых, чтобы зацепиться на первое время. Потом надо выписаться из квартиры, уволиться с работы, сняться с комсомольского учета. Надо раздобыть где-то денег. Как все это сделать без согласия родителей, когда буквально все у них в руках и даже Танькину зарплату получает мать?! Да никто с ней разговаривать не станет. А какой звон пойдет по поселку, стоит только заикнуться об увольнении или снятии с учета!

«Покончить с собой» — была вторая

мысль, страшная, холодная, отвратительная. Танька думала о смерти, и ей представлялась бабушка, лежащая в гробу, желто-зеленая, со впалыми щеками, с челюстью, подвязанной платком, с полуоткрытым беззубым ртом и приоткрытыми глазами. Танька представляла себя в таком же виде, и ее пробирал озноб. Нет, такой выход был ей не под силу. Что делать, она не знала.

Она почти ничего не ела, стала плохо спать, отупела от дум и нерешительности и впала в какое-то странное полудремотное состояние. Со стороны казалось, будто она все время напряженно о чем-то думает, пытается решить трудную задачу, но если бы ее спросили, о чем она думает, не смогла бы ничего сказать. В голове, а главное — на сердце, в душе была пустота.

И вот наступил день, когда она должна была дать окончательный ответ. Уже с утра ее познабливало — то ли простыла, то ли от нервов. Разделявая мясо, она дважды резанула себя по пальцам, но не почувствовала боли и только в перерыв, когда смыла с рук кровь скотины, равнодушно увидела две глубокие раны.

Вечером, выйдя из цеха, она сразу же заметила Игоря — он стоял у ворот, конечно же, поджидая ее. Ей стало противно и страшно, она вернулась в цех, как будто забыла что-то, а на самом деле спряталась в темный уголок бытовки, за шкафчики и просидела там неподвижно долго-долго, как показалось ей, целую зиму. Ее обнаружила уборщица и, раскричавшись, выгнала из бытовки. С трудом переставляя затекшие ноги, озябшая, оцепеневшая, Танька вышла из помещения. Во дворе было темно и пустынно. По тропинке, мимо кожевенного склада, через запахнутые ворота побежала она неуклюжей трусцой, трясясь от страха и холода.

Мела метель, но мороз держался изрядный. В мутной мгле раскачивались желтые пятна фонарей — тусклые, редкие, бесполезные. Улица была пустынна. Впереди, темный, словно нежилой, стоял в ряду таких же домов ее дом. Таньке показалось, будто

какая-то черная тень метнулась за угол. Она постояла, с опаской всматриваясь в темноту, но ничего там больше не появилось.

Домой идти не хотелось: опять родители будут приставать с разговорами, требовать ответа, ругаться. Она решила сходить к Любе. Медленно, боком, борясь со встречным ветром, пошла она по скользкой накатанной дороге и вскоре остановилась возле клуба, серого кирпичного здания с колоннами. У ярко освещенных пустых щитов «Сегодня» и «Скоро» крутило поземку. Беспородная дворняжка стояла у стены, зябко поднимая то одну лапу, то другую. Танька поманила ее, и собака подбежала к ней с выражением страдания и скорби на заиндевевшей морде. «Заведу-ка ее в подъезд», — решила Танька и, поманивая собаку, торопливо пошла к ближайшему двухэтажному дому. Она запустила собаку в подъезд, темный и глухой, как пещера, но зато теплый и пахнувший жильем, и, довольная, отправилась к Любе. Пройдя несколько шагов, она обернулась — какое-то черное пятно маячило в ночной мути. Танька прибавила шагу, но пятно не отставало — теперь было ясно, что ее нагоняет человек. Танька бросилась было бежать, но человек окликнул ее по имени, и она остановилась. Это был Игорь. Его лицо было красно и мокро от метели, воротник армейского полушубка закуржавился.

— Ну, чего гнался? — грубо спросила Танька.

Игорь тиранул под носом своим здоровенным кулачищем и ощерился в улыбку.

— А че, напугалась?

— Как шатун, бродишь. Не спишься?

— Ага, — кивнул он и снова вытер под носом. — Простыл я, Таня.

— Дома надо сидеть, раз простыл.

Он странно хмыкнул, развел руками.

— Ваську жду.

— Пойду, — пересилив дрожь, сказала Танька.

— К Любе? — Игорь сильно потер ладонь об ладонь и вздохнул. — А я как?

Танька дрожала, даже глаза у нее прыгали, и все расплывалось, как в тумане.

— Ну, все ж таки? — спросил Игорь.

— Не-е, — промычала Танька.

— А когда?

— Н-не...

Он огорчился, и так искренне, что ей стало жалко его. И он уже не казался ей таким противным, как прежде. Но что она могла ответить ему, если кроме этой внезапно возникшей жалости не чувствовала к нему ничего?

Она повернулась и, нервно ежась, быстро пошла домой. Она так промерзла и устала и так хотела спать, что мечтала сейчас об одном: забраться под одеяло, закутаться с головой, затихнуть и ни о чем не думать.

Родители встретили ее настороженно. Смотрели выжидающе, но ни слова не произнесли. Мать звала ее пить чай, но Танька отказалась, быстро разделась и юркнула в постель. Родители вскоре тоже легли, она слышала, как они шептались о чем-то, то повышая голос, то понижая до шелеста.

Ночью Таньке становится жарко, она в полудреме — то ли спит, то ли бредит. Странные цветистые картины возникают перед ее глазами. То ей кажется, будто она лежит на горячем чистом песке, на берегу теплой широкой реки и ноги ее шевелятся в зеленой воде, как рыбы плавники. То видится, будто идет с Николаем по весенней степи, он собирает какие-то камни, она — цветы. Цветочек к цветочку — тесные букетики, голубые маленькие бутончики, как искорки... Все поле покрыто ими, словно горит голубым огнем... И она не одна собирает цветы, еще кто-то рядом с ней, тесная толкающаяся толпа, и все бегут, торопятся нарвать как можно больше и успеть, успеть куда-то. Она тоже спешит, тоже толкает соседей и все вперед, вперед... И вот она спотыкается и чуть не падает. Кто-то поддерживает, как бы подпирает с боков, подталкивает сзади. Она упирается руками во что-то мягкое и видит вокруг себя грязную всклокоченную шерсть, желтые сосульки, мохнатые уши, лепехи примерзшего навоза, рога. Ее сжимает, крутит, тащит куда-то, глухо постукивают копыта о деревянный настил, трутся, шуршат стылые шкуры, доносится учащенное дыхание. Рез-

кими короткими шажками ее несет все вперед и вперед, в сужающееся пространство, мутное, черное, гибельное, оттуда слышатся хриплые стоны, короткое вяканье, скрежет машин. Ее сжимает все сильнее, все глубже засасывает в жуткую воронку, она теряет все свое тело — ни рук, ни ног, ни головы — одно сердце, бьющееся, ноющее, трепыхающееся на окровавленном столе...

Танька стонет, мечется в жару, в бреду. Вспыхивает свет, над ней склоняется мать, Танька дрожит, клацают зубы, она бормочет бессвязное, вскрикивает, плачет. Мать не отходит от нее до утра, утром вызывает врача, остается дома день и другой, пока не проходит горячечный кризис.

Постепенно Танька поправляется, у нее чернеют, шелушатся обмороженные щеки и кончик носа, глаза тускнеют, наливаются тоской. Она не хочет поправляться, не хочет вставать с постели, выходить из дому. Врачи говорят, что не может больше продле-

вать больничный, — надо идти на ВКК. Но кто же признает ее больной — по всем внешним данным она здоровее самой здоровой. Кто определит болезнь, которая тонкой иглой ушла в сердце, спряталась в душе, растворилась в крови?

В последний день декабря, с утра, когда разошелся морозный туман, к поселковому Совету подкатил «Москвич» с куклой на радиаторе, украшенный разноцветными лентами, шариками, бумажными цветами. Из машины вывели Таньку — в белом свадебном наряде, немую и неловкую в движениях, как заводную куклу. Возле нее суетились мать, Люба, товарки с мясокомбината, говорили что-то, одергивали, поправляли платье невесты. Танька стояла с отрешенным, застывшим лицом, как глухая.

Ее завели в поссовет — там все было готово. Формальная сторона заняла немного времени — Танька Стрыгина стала Татьяной Макарычевой.



# *Первоцвет*

№ 2 (15) 2003

*Литературно-художественный альманах для юношества*

Альманах зарегистрирован в Восточно-Сибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати, регистрационный номер И-0391 от 28 июля 1998 г.

Выпуск альманаха осуществляется благодаря финансовой поддержке Комитета по культуре администрации Иркутской области.

*Областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина  
и редакционная коллегия альманаха «Первоцвет»  
сердечно благодарят **оперативную типографию «На Чехова»**  
за помощь в издании альманаха, понимание и поддержку*

Рукописи не возвращаются и не рецензируются

**Адрес редакции:** 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, д. 10  
Тел. (3952) 29-07-93, 20-43-01  
E-mail: [library@youlib.irk.ru](mailto:library@youlib.irk.ru)

Тираж 800 экз. Заказ №

Цена свободная.



Отпечатано  
в ООО Оперативная типография «На Чехова»  
664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10.  
Тел./факс: (3952) 20-93-55, 20-90-56.  
Лицензия ПД № 13-0035.  
E-mail: chehova@irk.ru.